

Зигмунд Фрейд

ОСТРОУМИЕ И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К БЕССОЗНАТЕЛЬНОМУ

Аналитическая часть

Введение

Кто искал когда-либо в эстетической и психологической литературе объяснение сущности остроумия и его отношений с другими видами душевной деятельности, тот должен будет признать, что философские изыскания не коснулись остроумия в той мере, какой оно заслуживает из-за своей роли в жизни нашей души. Только немногие мыслители подробнее интересовались проблемами остроумия. Правда, среди лиц, занимавшихся исследованием остроумия, имеются блестящие имена: поэта Жана Поля (Франца Рихтера), философов Т. Фишера, К. Фишера и Т. Липпса. Но и у этих авторов тема остроумия отодвинута на задний план, а главный интерес исследования сосредоточен на более широкой и более заманчивой проблеме комического.

При изучении этой литературы складывается впечатление, будто совершенно невозможно трактовать остроумие вне его связи с комическим.

По Т. Липпсу (*Komik and Humor*, 1898)¹ остроумие является «чрезвычайно субъективным комизмом», то есть комизмом, «который мы сами производим, который относится к нашему поведению как таковому, и к которому мы всегда относимся как его субъект, и никогда как его объект, тем более как добровольный объект». Это положение поясняется примечанием: остроумием называется вообще «всякое сознательное и искусное создание комизма, будет ли это комизм созерцания или комизм ситуации».

К. Фишер поясняет отношение остроумия к комическому с помощью исследования карикатуры, занимающей в его изложении нечто среднее между остроумием и комизмом (*Über den Witz*, 1889.). Объектом комизма является безобразное — в какой бы то ни было форме своего проявления. «Там, где оно скрыто, его следует обнаружить и показать в свете комического созерцания. Где безобразное мало или едва заметно, его необходимо осветить и так подчеркнуть, чтобы оно стало ясным и очевидным... Так возникает карикатура». «Весь наш духовный мир — интеллектуальное царство наших мыслей и представлений — не обнажается под созерцанием внешнего взгляда. Он не может быть представлен непосредственно с помощью образного и наглядного изображения. Но он сохраняет свои задержки, недостатки, уродства, массу смешного и множество комических контрастов. Чтобы подчеркнуть их и сделать доступными эстетическому созерцанию, нужна сила, которая была бы в состоянии не только изобразить объекты, но и сама могла бы рефлексировать и объяснять эти изображения, — то есть сила, проявляющая мысли. Такой силой можно считать только суждение. А суждением, производящим комический контраст, является острота. Она незримо участвовала уже в карикатуре, но в суждении приобрела свойственную ей форму и свободное поприще для своего развития».

Как видно, Липпс усматривает в деятельности, в активном поведении субъекта характерные черты, выделяющие остроумие среди других видов комического. В то же время К. Фишер характеризует остроумие отношением к своему объекту, считая, что оно должно выявлять скрытое уродство царства мыслей. Основательность этих определений не может быть проверена. Их даже едва ли можно понять, если рассматривать вне той взаимозависимости, из которой они кажутся здесь вырванными. Поэтому мы стоим перед необходимостью разбираться в изображениях комического авторами, чтобы узнать от них что-нибудь об остроумии. Между тем в других местах будет видно, что эти авторы сумели

¹ Статьи об эстетике, изданные Т. Липпсом и Р.М. Вернером, VI. (Книга, подвигшая меня предпринять эту попытку исследования.)

показать такие существенные и общераспространенные характерные черты остроумия, при которых это отношение к комическому не принято во внимание.

Характеристика остроумия К. Фишера, который сам, по-видимому, ею вполне удовлетворен, гласит: «Остроумие есть игривое суждение». Для пояснения этого выражения мы укажем на аналогию: «Подобно тому как эстетическая свобода заключается и в праве на игривое созерцание вещей». В другом месте эстетическое отношение к объекту характеризуется условием, что мы от этого объекта ничего не требуем, в особенности удовлетворения наших серьезных потребностей. Мы просто довольствуемся наслаждением при созерцании этого объекта. Эстетическому отношению позволено быть игривым — в противоположность работе. «Могло случиться, что из эстетической свободы возник особый вид суждения, свободный от оков и правил, который я ввиду его происхождения хочу назвать «игривым суждением». И в этом понятии сохранено первое условие, если не целиком вся формула, разрешающая нашу задачу. «Свобода дает остроумие, а остроумие дает свободу, — сказал Жан Поль. — Остроумие является всего лишь игрой идеями».

Издавна любили определять остроумие как ловкое умение находить сходство между несходными вещами; то есть находить скрытое сходство. Жан Поль сам остроумно выразил эту мысль следующим образом: «Остроумие — это переодетый священник, который венчает любую пару». Т. Фишер продолжает: «И охотнее всего он венчает ту пару, к соединению которой родственники относятся нетерпимо». Но сам же и возражает, что существуют остроты, при которых нет и речи о сравнении, а поэтому и о нахождении сходства. Он дает, таким образом, несколько отличное от Жана Поля определение остроумия как умения с поразительной быстротой связывать в одно целое несколько представлений, фактически чуждых друг другу по своему внутреннему содержанию и связи. Затем К. Фишер подчеркивает, что во множестве остроумных суждений отыскиваются не сходства, а различия, Липпс же обращает внимание на то, что эти наблюдения относятся к тем остротам, которые остроумный человек знает, а не к тем, которые он создает.

Другими точками зрения, которые в некотором смысле связаны друг с другом и которыми пользуются для определения понятия или описания остроумия, являются: «контраст представлений», «смысл в бессмыслице» и «смущение из-за непонимания и внезапное уяснение».

Но определение, например, Эмиля Крепелина переносит в центр внимания контраст представлений. Острота является «произвольным переплетением или соединением двух контрастирующих друг с другом представлений, в большинстве случаев — с помощью речевой ассоциации». Такому критику, как Липпс, нетрудно открыть полную несостоятельность этой формулы. Но и он не исключает момента контраста, а передвигает его на другое место. «Контраст продолжает существовать, но это не так или иначе понятый контраст представлений, описываемых словами, а контраст или противоречие между значимостью или незначительностью слов». Примеры поясняют, как должно понимать последнее. «Контраст возникает оттого, что... мы придаем словам некоторое значение, которое, однако, не можем затем вновь признать за ними».

В дальнейшем развитии последнего определения приобретает значение антитеза «смысл и бессмыслица». «То, что мы в один момент считаем осмысленным, оказывается для нас затем совершенно бессмысленным. В этом заключается для нас в настоящем случае комический процесс». «Остроумным кажется выражение в том случае, если мы по психологической необходимости приписываем ему определенное значение и тотчас снова отрицаем его. При этом под значением можно подразумевать разные понятия. Мы приписываем выражению смысл и знаем, что логически он ему не подходит. Мы находим в выражении истину, которую все-таки по законам познания или общего навыка нашего мышления не можем найти в нем. Мы признаем за ним логические и практические следствия, выходящие за пределы его действительного содержания, чтобы сейчас же отрицать эти следствия, как только мы примем во внимание смысл этого выражения. Во всяком случае, психологический процесс, который создает в нашей голове остроумное

выражение и на котором покоится чувство комизма, заключается в непосредственном переходе от этого признания смысла, истины, его значительности к осознанию или впечатлению его относительной ничтожности».

Если это объяснение звучит убедительно, то желательно было бы все-таки поставить здесь вопрос: способствует ли эта антитеза осмысленного и бессмысленного, на которой покоится чувство комизма, определению понятия остроумия, поскольку оно отличается от комизма?

Момент «непонимания и внезапного уяснения» тоже заводит нас далеко в проблему отношения остроумия к комизму. Кант говорит о комическом вообще, будто замечательная особенность его заключается в том, что оно может обмануть нас только на один миг. Хейманс (*Zeitschrift für Psychologie* XI, 1896) показывает, как осуществляется эффект остроумия последовательной сменой непонимания и внезапного уяснения. Он поясняет свое мнение прекрасной остротой Гейне, который заставляет одного из своих героев, бедного лотерейного коллекционера Гирш-Гиацинта, хвастать тем, что великий барон Ротшильд обходится с ним как с человеком вполне ему равным, вполне фамиллионьярно (*famillionär*). Здесь слово, являющееся источником остроумия, кажется прежде всего ошибочным словообразованием, чем-то непонятным, несуразным, загадочным. Поэтому оно приводит нас в смущение. Комизм осознается после исчезновения смущения в результате понимания слова. Липпс дополняет, что за этой первой стадией, во время которой мы узнаем, что смущающее нас слово означает то-то и то-то, следует вторая стадия, когда появляется понимание того, что это бессмысленное слово сначала смутило нас, а затем оказалось действительно имеющим смысл. Лишь это второе уяснение — познание того, что причиной недоразумения стало слово, бессмысленное с точки зрения обыденной практики языка, — лишь это превращение абсурда в ничто и вызывает комизм.

Кажется ли нам более понятной та или другая из обеих трактовок, но мы с помощью рассуждений о непонимании и внезапном уяснении подошли ближе к определенному мнению. Если комический эффект гейневского «фамиллионьярно» основан на разгадке якобы бессмысленного слова, то остроумие следует, конечно, усмотреть в образовании этого слова и в его значении.

Кроме обсуждавшихся выше точек зрения, все авторы указывают и на другую существенную особенность остроумия. «Краткость — душа и тело остроумия и даже оно само», — говорит Жан Поль (*Vorschule der Ästhetik*, I, § 45), видоизменяя таким образом лишь одну фразу старого болтуна Полония в шекспировском Гамлете (действие 2-е, сцена II):

И так как краткость есть душа ума,
А многословие — его прикраса,
Я буду краток.
(Перевод А. Кронеберга.)

Важно затем описание краткости остроумия у Липпса: «Острота говорит то, что она говорит, — не всегда мало, но всегда немногими словами, которых, согласно строгой логике или обычному образу мышления и речи, недостаточно для этого. Она может даже что-то сказать, умалчивая об этом».

«Что остроумие должно выхватывать нечто скрытое или спрятанное» (К. Фишер), было уже указано при сопоставлении остроумия с карикатурой. Я подчеркиваю еще раз это определение, так как и оно тоже больше относится к сущности остроумия, чем к сущности комизма.

Я, конечно, понимаю, что вышеприведенные небольшие выдержки из работ авторов, писавших об остроумии, недостаточны для суждения о ценности этих работ. Из-за трудностей, возникающих при желании правильно передать ход мыслей, столь сложный, с такими тонкими нюансами, я не могу избавить любознательных читателей от труда почерпнуть желательные для них познания из первоисточников. Но я не знаю, будут ли они полностью удовлетворены ими. Указанные авторами и приведенные выше критерии и

особенности остроумия — активное отношение к содержанию нашего мышления, характер игривого суждения, сочетание несходностей, контраст представлений, «смысл в бессмыслице», смена смущения из-за непонимания внезапным уяснением, обнаружение скрытого смысла и особый вид лаконичности остроумия, — все это кажется на первый взгляд наблюдениями настолько меткими и легко подтверждаемыми целым рядом примеров, что мы не подвергаемся опасности умалить ценность таких взглядов. Но все это *disjecta membra*, которые мы хотели бы видеть объединенными в одно органическое целое. Они приводят к познанию остроумия не более, чем ряд анекдотов о личности, биографию которой нам нужно узнать. В результате мы совсем не знаем, что общее имеет, например, лаконичность остроумия с его характером игривого суждения. У нас нет объяснения, должны ли остроумие удовлетворять всем поставленным условиям, чтобы быть истинным остроумием, или только некоторым из них; и какие из этих условий могут быть заменены другими, а какие из них абсолютно необходимы. Мы хотим также произвести классификацию и систематизацию острот, основываясь на их особенностях, признанных существенными. Систематизация, которую мы находим у авторов, опирается, с одной стороны, на технические приемы, с другой стороны — на употребление острот в разговоре (остроумие, являющееся результатом созвучия; игра слов — карикатурная, характерная остроота, остроумное парирование).

Нам, следовательно, нетрудно будет указать цели дальнейшему исследованию объяснения остроумия. Чтобы иметь возможность рассчитывать на успех, мы должны были бы или внести в эту работу новые точки зрения, или попытаться проникнуть глубже, усилив наше внимание и углубив наш интерес. Мы можем утверждать, что в применении последнего средства, по крайней мере, недостатка не было. Поразительно, насколько немногочисленными примерами таких признанных острот довольствуются авторы для своих исследований и как каждый заимствует те же самые остроты у своих предшественников. И мы не можем отказаться от необходимости проанализировать те же самые примеры, которые уже были приведены классическими авторами, писавшими об остроумии. Но мы намерены кроме этого заняться исследованием и новых материалов, чтобы иметь более веские основания для наших выводов. Затем мы намерены сделать объектами нашего исследования такие примеры остроумия, которые в жизни произвели на нас самих большое впечатление и заставили много смеяться.

Заслуживает ли тема остроумия такого исследования? Я думаю, что это не подлежит сомнению. Помимо личных мотивов, о которых я еще расскажу в этой работе и которые побуждают меня сделать попытку раскрыть секреты остроумия, я могу сослаться на существование тесной связи между разными душевными процессами, — связи, которая придает ценность психологическому познанию в какой-нибудь одной отдаленной области нечто ценное, не вполне еще признанное в других областях. Нужно помнить также и о том, какое своеобразное очарование вносит остроумие в наше общество. Новая остроота обладает таким же свойством, как и событие, к которому проявляют величайший интерес: она передается от одного к другому, как только что полученное известие о победе. Даже видные люди, которые считают нужным сообщать свою биографию, рассказывать, какие города и страны они видели, с какими выдающимися людьми они общались, не пренебрегают случаем поместить в своем жизнеописании те или иные прекрасные остроты, слышанные ими².

I. Техника остроумия

Следуя прихоти случая, мы берем первый пример остроумия, который привели в предыдущей главе.

В той части «Путевых картин», которая озаглавлена «Луккские воды», Г. Гейне

² J. и. Falke. «Lebenserinnerungen», 1897.

выводит ценный образ лотерейного коллекционера и мозольного оператора Гирш-Гиацинта из Гамбурга, который хвастает перед поэтом своими отношениями с богатым бароном Ротшильдом и в заключение говорит: «И как бог свят, господин доктор, я сидел рядом с Соломоном Ротшильдом, и он обращался со мною как с равным себе, совершенно фамиллионьярно»³.

На этом примере, считающемся превосходным и очень смешным, Хейманс и Липпс выясняли происхождение комического эффекта остроты при переходе «от смущения из-за непонимания до внезапного уяснения» (см. выше). Но мы оставляем этот вопрос в стороне и заднем себе другой: что же именно превращает разговор Гирш-Гиацинта в остроту? Это может зависеть от двух причин: или мысль, выраженная в предложении, сама по себе носит черты остроумия; или в самом выражении кроется остроумие, которое обнаружила наша мысль. В каком из этих двух объяснений мы усмотрим пример остроумия, в том мы глубже проследим его, исследуем и постараемся уловить его суть.

Мысль может найти свое выражение в общем в различных разговорных формах, то есть в словах, которые могут очень верно передать ее. Речь Гирш-Гиацинта представляет собой определенную форму выражения мысли и, как мы догадываемся, особенную, своеобразную форму — не такую, которую легче всего можно понять. Попробуем выразить эту же мысль другими словами. Липпс уже сделал это и частично объяснил таким образом изложение поэта. Он говорит: «Мы понимаем: Гейне хочет сказать, что обращение было фамиллярным. Но оно носило именно тот общеизвестный характер, который обычно не доставляет удовольствия из-за привкуса чужих миллионов». Мы ничего не изменяем в этой мысли, если даем ей другое изложение, которое, быть может, лучше подходит к разговору Гирш-Гиацинта: «Ротшильд обошелся со мной совсем как с равным, совсем фамиллярно, насколько это может позволить себе миллионер». «Снисходительность богатого человека заключает в себе всегда что-то неудобное для того, кто испытывает ее на себе» — прибавим еще и мы⁴.

Оставив эту или другую равнозначную формулировку этой мысли, мы видам, что ответ на вопрос, который мы задали себе, уже предрешен. Характер остроумия проистекает в этом примере не за счет ума. Замечание, которое Гейне вкладывает в уста своему Гирш-Гиацинту, верное и меткое. Оно таит очевидную горечь, которая, понятно, легко возникает у бедного человека при виде большого богатства. Но все же мы не решимся назвать это замечание остроумным. Возможно, что кто-то при чтении этого замечания, сделанного нами, вспоминает изложение этой мысли самим поэтом и продолжает думать, что мысль эта сама по себе остроумна. В таком случае мы можем указать на надежный критерий оценки характерной черты остроумия. Рассказ Гирш-Гиацинта заставляет нас громко смеяться. Но даже верная передача смысла этого рассказа по Липпсу или в нашем изложении хотя и может нравиться и побуждать к размышлению, но заставить нас смеяться она не может.

Характер остроумия в нашем примере объясняется не игрой мысли. Его следует искать в форме, в подлинном тексте выражения. Нам нужно изучить особенность этого способа выражения остроумия и понять, что его можно обозначить как технику слова при выражении этой остроты. Причем техника эха должна находиться в тесной связи с сущностью остроты, чьи характерные черты и эффект исчезают при замене этой техники выражения другою. Впрочем, мы находимся в полном согласии с другими авторами, придавая такое значение словесному выражению остроты. Так, например, К. Фишер говорит: «Уже одна только форма может превратить суждение в остроту. При этом невольно вспоминается фраза Жана

³ Г. Гейне. Собр. соч. Т. I. С. 359. Спб., 1904. Изд. 2-е. Перевод П. Вейнберга. — У переводчика слово «famillionar» переведено «фа-миллионерно». — Примеч. перев.

⁴ К этой остроте мы еще вернемся в другом месте, где будем иметь повод откорректировать данное Липпсом изложение ее сути, приближающееся к нашему анализу. Но и его изложение не мешает нижеследующим рассуждениям.

Поля, выясняющая и доказывающая ту же природу остроты в остроумном же изречении: «Так побеждает одна только позиция, будь то позиция ратников или позиция фраз».

В чем же заключается «техника» этой остроты? Что произошло с мыслью, заключенной в нашем изложении, если из нее получилась острота, от которой мы так искренне, от души смеялись? С ней произошли две перемены, как показывает сравнение нашего изложения с текстом поэта. Во-первых, имело место значительное сокращение. Для того чтобы целиком выразить заключающуюся в остроте мысль, мы должны были прибавить к словам «R обошелся со мною совсем как с равным, совсем фамильярно» второе предложение, которое в наикратчайшей форме поясняет: то есть в той степени, в какой это может сделать миллионер. И лишь после этого мы почувствовали еще потребность в поясняющем добавлении⁵. У поэта это выражено гораздо короче: «R обошелся со мною совсем как с равным, совсем фамиллионьярно». То ограничение, которое второе предложение прибавляет к первому, констатирующему фамильярное обращение, в остроте утрачено.

Но это' ограничение опущено все-таки не без замены, из которой его можно реконструировать. Имело место и другое видоизменение. Слово «фамильярно» в выражении мысли, лишенном остроумия, превратилось в тексте остроты в «фамиллионьярно». Без сомнения, именно с этим словообразованием связан характер остроумия и смехотворный эффект остроты. Новообразование использует в своем начале слово «фамильярно» из первого предложения, а в своих конечных слогах — слово «миллионер» из второго предложения. Замещая только одну составную часть слова «миллионер», оно как будто замещает все второе, пропущенное предложение и заставляет нас, таким образом, предполагать его в тексте остроты. Его нужно оценивать как смешанное образование из двух слов: «фамильярно» («familiar») и «миллионер» («Millionar»). Можно даже попытаться графически, то есть более наглядно, показать его рождение из обоих этих слов⁶.

Процесс превращения мысли в остроту можно представить себе следующим образом. (Хотя на первый взгляд он может показаться фантастическим, но, тем не менее, в точности передает действительно имеющий место факт.)

«R обошелся со мной совсем фамильярно, то есть в той степени, в какой это может сделать миллионер».

Теперь допустим, что на эти предложения действует сжимающая сила и что второе из них по какой-то причине более податливо. Тогда оно исчезнет, а существенная составная его часть, слово «миллионер», которое может сопротивляться, будет как бы вдавлено в первое предложение и сольется со столь подобным ему элементом «фамильярно». Именно эта случайная возможность спасти суть второго предложения будет способствовать гибели других, менее важных составных частей. Таким образом, возникает острота: «R обошелся со мной совсем фамиллионьярно».

Даже кроме такой сжимающей силы, которая нам фактически неизвестна, мы можем рассматривать процесс образования остроты, то есть технику остроумия в этом случае, как сгущение с заместительным образованием. В нашем случае заместительное образование представляет собой смешанное слово «фамиллионьярно». Само по себе непонятное, но присоединенное к первой части предложения слово стало исполненным смысла, стало

⁵ То же самое относится к изложению Липпса.

⁶ Слоги, общие в обоих словах, напечатаны здесь жирным шрифтом в отличие от неодинаковых типов отдельных составных частей обоих слов. Второе л (/), которое едва заметно при произношении, разумеется, должно быть пропущено. Понятно, что созвучие нескольких слогов в обоих словах дало повод технике остроумия создать смешанное слово.

носителем эффекта остроты, заставляющего нас смеяться, хотя секреты его механизма нам все-таки ни на йоту не приоткрылись. Но всегда ли процесс сгущения с заместительным образованием в виде смешанного слова может доставить нам удовольствие и заставить смеяться? Это уже другая проблема, обсуждение которой мы должны отложить до тех пор, пока не найдем к ней подхода. Предварительно же займемся техникой остроумия.

По нашему мнению, анализ техники остроумия необходим для понимания сущности самого остроумия. Поэтому мы хотим прежде всего исследовать, существуют ли другие примеры острот, построенных аналогично гейневскому «фамиллионьярно». Их существует не особенно много, но все же достаточно для того, чтобы составить из них небольшую группу словообразований, полученных путем смешивания. Гейне сам создал из слова «миллионер» вторую остроту, как бы подражая самому себе. Он говорит «Millionart», что является, как нетрудно догадаться, сокращенной комбинацией слов «Millionart» и «Narr» (в переводе с немецкого — «дурак»). Подобно первой остроте, здесь тоже дается выражение подавленной задней мысли.

Вот другие известные мне примеры. Жители Берлина называют «Форкенкладезем» один колодец в своем городе, сооружение которого доставило много неприятностей бургомистру Форкенкладу⁷, и этому названию нельзя отказать в остроумии, хотя слово «колодец» пришлось превратить при этом в неупотребительное «кладезь», чтобы получилось нечто общее с фамилией. Злое остроумие Европы окрестило как-то одного монарха Клеопольдом, вместо Леопольда, из-за его интимных отношений с дамой по имени Клео; это несомненная работа сгущения, когда присоединение всего одной буквы создает вполне прозрачный намек. Собственные имена вообще легко подвергаются такой обработке со стороны техники остроумия. Например, в Вене было два брата по фамилии Salinger. Один из них был биржевым маклером (Borsensal). Это дало повод назвать одного брата Sensalinger⁸, а другому брату дать нелюбезное прозвище Scheusalinger⁹. Оно было удобно и, конечно, остроумно. Правда, я не знаю, было ли оно справедливо. Но острословы обычно не очень заботятся об этом.

Мне рассказали следующую остроту, появившуюся в результате сгущения.

«Молодой человек, который вел на чужбине легкомысленный образ жизни, посетил после долгого отсутствия живущего на родине друга. Тот опешил, увидя на руке своего гостя обручальное кольцо. «Как? — воскликнул он. — Разве вы женаты?» «Да, — гласил ответ. — Венчально, но это так».

Острота великолепна, ибо в слове «венчально» присутствуют два компонента — словосочетание «обручальное кольцо», искаженное в «венчальное», и предложение «печально, но это так». Действию остроты не мешает здесь тот факт, что смешанное слово не является непонятным и неспособным к существованию продуктом, а целиком покрывается одним из обоих сгущенных элементов¹⁰ (в отличие от слова «фамиллионьярно»).

Я сам случайно доставил материал для остроты, вполне аналогичной тому же «фамиллионьярно». Я рассказывал одной даме о больших заслугах одного исследователя. «Этот человек заслуживает, конечно, монумента», — сказала она. «Возможно, что он его

⁷ Настоящая фамилия бургомистра Forkenbeck; чтобы сохранить технику этой остроты, пришлось несколько видоизменить эту фамилию. — Примеч. перев.

⁸ Сгущение слов: Sensal (маклер)
Salinger — Sensalinger.

⁹ Сгущение слов: Scheusal (урод)
Salinger — Scheusalinger.

¹⁰ Слово «венчально» является продуктом сгущения слов:
венчально/печально

когда-нибудь получит, — ответил я. — Но в настоящий момент его успех очень невелик». «Монумент» и «момент» — противоположности. Дама эти противоположности объединила: «Итак, пожелаем ему монументального успеха».

Прекрасная обработка этой же темы в английском языке (А.А. Брилли. «Freuds Theory of wit, Journal of abnormal Psychology», 1911) тоже дала мне несколько примеров, которые указывают на тот же механизм, что и наше «фамиллионьярно».

«Английский автор де Куинси, — рассказывает Брилли, — отметил где-то, что старые люди склонны к тому, чтобы впадать в «anecdorage». Это слово образовалось из слияния частично покрывающих друг друга слов:

anecdote

dotage (детская болтовня).

В одной анонимной краткой истории Брилли нашел однажды обозначение для Рождества Христова в виде «the alcoholidays». Обозначение это является прямым слиянием слов:

alcohol

holidays (праздничные дни).

Когда Флобер напечатал свой знаменитый роман «Саламбо», в котором действие происходит в Карфагене, Сент-Бёф в насмешку за точное описание деталей прозвал его Carthagi-noiserie:

Carthaginois

chinoiserie (китайщина).

Автором превосходнейшей остроты, принадлежащей к этой группе, является один из первых мужей Австрии, который после значительной научной и общественной деятельности занял высшую должность в государстве. Я позволил себе в качестве материала для исследования¹¹ взять одну из тех острот, которые приписываются этому липу и действительно имеют один и тот же отпечаток. И сделал это, прежде всего, потому, что вряд ли можно добыть материал лучше.

«Господин N. обратил однажды внимание на личность автора, который был известен целым рядом скучных статей, напечатанных им в ежедневной венской газете. Статьи эти повествуют о небольших эпизодах из истории отношений Наполеона I к Австрии. Автор имел красные волосы. Господин N., услышав его имя, спросил: «Это не красный ли пошляк (Fadian)¹², который проходит через историю Наполеонады?»

Чтобы понять технику этой остроты, мы должны обратиться к тому процессу редукции, при котором эта острота исчезает с изменением выражения и вместо нее снова возвращается то первоначальное содержание мысли, которое безусловно можно уловить в каждой хорошей остроте. Острота господина N. о красном пошляке (Fadian) произошла из двух компонентов: из неодобрительного мнения об авторе и из воспоминания о знаменитой притче, которой Гете начинает выдержки «Из дневника Оттилиенса» в «Wahlverwandtschaften»¹³.

¹¹ Имею ли я право на это? Я узнал эти остроты, по крайней мере, легальным путем. Они всем известны в этом городе (Вене) и перебивали на устах у всех. Часть из них опубликовал Эдуард Ханслик в «Neue freie Presse» и в своей автобиографии. За искажения, которые, быть может, произошли в остальных остротах и которых едва ли можно было избежать, я приношу извинения.

¹² Rote Fadian — красный пошляк, rote Faden — красная нить. Отсюда — непере译имая игра слов. — Примеч. перев.

¹³ «Мы слышим об особом устройстве в английском флоте. Все без исключения канаты в королевском флоте, от самого толстого до самого тонкого, сплетены таким образом, что через всю их длину проходит красная нить, которая не может быть выдернута, если не расплетен весь канат, и мельчайшие частички которой несут на себе печать принадлежности к короне. Так же тянется и через дневник Оттилиенса нить влечения и привязанности, которая все связывает и характеризует все в целом».

Недовольная критика могла бы ворчать: «Это, следовательно, тот человек, который вечно пишет только скучные фельетоны о Наполеоне в Австрии!» Это выражение вовсе не остроумно. Так же не остроумно и прекрасное сравнение Гете и оно, конечно, не способно заставить нас смеяться. Лишь когда оба эти выражения приходят в связь друг с другом и подвергаются своеобразному процессу сгущения и слияния, тогда возникает острота, причем острота перворазрядная¹⁴.

Связь между дурным отзывом о надоедливом историке и прекрасным сравнением в «Wahlverwandtschaften» я должен объяснить несколько более сложным путем, чем это делается во многих подобных случаях, и по соображениям, которые я здесь еще не могу объяснить. Я попытаюсь заменить предполагаемый процесс следующей конструкцией. Прежде всего, постоянное возвращение к одной и той же теме могло пробудить у господина N. отдаленное воспоминание о том известном месте в «Wahlverwandtschaften», которое в большинстве случаев неправильно цитируется словами «Это проходит красной нитью». «Красная нить» сравнения видоизменила способ выражения первого предложения из-за случайного обстоятельства: и тот, кого ругали, был красным, точнее — красноволосым. Теперь эта мысль могла утверждать: следовательно, этот красный человек является тем, кто пишет скучные фельетоны о Наполеоне. Дальше начал действовать процесс, обусловивший сгущение обеих частей в одно целое. Под давлением этого процесса, который нашел первую точку опоры в тождестве элемента «красный», слово «скучный» ассимилировалось с «Faden» (нить) и превратилось в «fad» (пошлый), а затем оба компонента могли слиться в подлинный текст остроты, в котором цитата участвует чуть ли не в большей мере, чем само первоначально имевшееся ругательное суждение:

Следовательно, этот красный человек является тем, кто пишет пошлый (fad) вздор о N.; красная нить (Faden), которая проходит через все в целом.

Не красный ли это пошляк (Fadian), который проходит через всю историю N.? Оправдание, а также корректуру этого изложения я дам в одной из дальнейших глав, когда буду анализировать эту остроту, исходя из чисто формальных точек зрения. И что бы в этом изложении ни было под сомнением, но только не тот факт, что здесь произошло сгущение. Результатом сгущения является опять-таки, с одной стороны, значительное укорочение изложения мысли, с другой стороны, вместо бросающегося в глаза словообразования путем смешивания здесь происходит взаимное проникновение составных частей обоих компонентов. «Красный пошляк» (Fadian) могло бы все-таки существовать просто как ругательство; в нашем же случае — это безусловно продукт сгущения.

Возможно, читатель в этом месте вознегодует по поводу образа мышления, угрожающего ему разрушением удовольствия от остроумия, но не показывающего, однако, источников этого удовольствия. В таком случае я прежде всего попрошу его вооружиться терпением. Мы занимаемся только техникой остроумия, и ее исследование обещает найти разъяснение лишь в том случае, если мы будем иметь довольно большой объем материала.

Анализ последнего примера уже подготовил нас к тому, что если мы встретим процесс сгущения и в других примерах, то замена подавленного может быть дана не только новым словообразованием путем смешивания, но и другим изменением выражения. В чем состоит эта иная замена, мы узнаем из других острот господин N.

«Я ездил с ним tete-a-bete». Нет ничего легче, чем редуцировать эту остроту. Очевидно, что она может означать только: «Я ездил tete-a-tete с X., и этот X. — глупая скотина». Ни одна из обеих этих фраз не остроумна. Но и объединение их в одно предложение «Я ездил tete-a-bete с этой глупой скотиной X.» осталось таким же малоостроумным. Острота получается лишь в том случае, когда слова «глупая скотина» опускаются и взамен этого одно tete превращает свое «t» в «Ъ». Из-за этой незначительной модификации подавленное

¹⁴ Я хочу указать только на то, как мало согласуется это регулярно повторяющееся наблюдение с утверждением, что острота является игривым суждением.

сначала слово «скотина» снова появляется в выражении. Технику этой группы острот можно описать как сгущение с незначительной модификацией, и, конечно, острота будет тем удачнее, чем меньше бросается в глаза замещающая модификация.

Совершенно такова же, хотя и менее сложна, техника другой остроты. Господин N. в разговоре об одном человеке Y., который заслуживает много похвал, но в котором можно найти и много недостатков, отзывается так: «Да, тщеславие является одной из его четырех Ахиллесовых пят»¹⁵. Небольшая модификация заключается здесь в том, что вместо одной Ахиллесовой пяты, допустимой у героя, у Y. констатируют четыре, а следовательно и четыре ноги, что бывает только у животных. Таким образом, обе сгущенные в остроте мысли гласили: «Y., если не обращать внимание на его тщеславие, выдающийся человек. Но я все же не люблю его, потому что он все-таки скорее животное, чем человек»¹⁶.

Такова же, но только гораздо проще, другая острота, которую я имел возможность слышать *in statu nascendi* (в момент ее возникновения) в семейном кругу. Из двух братьев-гимназистов один — отличник, другой учится посредственно. Однажды с образцовым учеником в школе произошел несчастный случай, о котором мать завела разговор, выразив свое опасение, что это может привести к снижению оценок. Другой мальчик, находившийся до сих пор в тени своего брата, охотно подхватил тему: «Ла, — сказал он. — *Karl geht auf alien Vieren zurück*». (В переводе это означает: «Да, Карл опускается до четверок» (вместо пятерок); или «Да, Карл пятится назад на всех четырех».)

Модификация заключается здесь в небольшом добавлении к уверению, что другой также, по его мнению, опускается. Но эта модификация заменяет страстную защиту собственных интересов. «Вообще вы не должны думать, будто Карл лучше меня успевает в школе потому только, что он одареннее меня. Он все же только глупое животное, то есть гораздо глупее меня».

Прекрасным примером сгущения с небольшой модификацией является другая весьма известная острота господина N. Об одном принимавшем участие в общественной жизни человеке N. говорил, что тот имеет великую будущность позади себя. Человек, к кому относилась эта острота, был молодым и по своему происхождению, воспитанию и личным качествам, казалось, имел все данные со временем стать руководителем партии и, находясь во главе ее, достигнуть высокого поста. Но времена изменились. Партия перестала принимать участие в правлении, и можно было предсказать, что и человек, предназначавшийся ей в руководители, ничего значительного не достигнет. Кратчайшее редуцированное изложение, которым можно было бы заменить эту остроту, должно было бы гласить: этот человек имел впереди великое будущее, которого теперь не стало. Вместо пропущенных слова «имел» и придаточного предложения, в главном предложении происходит небольшое изменение: вместо слова «впереди» употреблено противоположное ему слов «позади»¹⁷.

Почти к такой же модификации прибег господин N. в случае с одним кавалером, назначенным министром земледелия только потому, что он сам был земледельцем. Вскоре о нем сложилось общественное мнение как о наименее способном из всех, кто занимал эту должность. И когда он сложил с себя обязанности министра и опять вернулся к своим

¹⁵ Эту же самую остроту высказал еще раньше Г. Гейне по адресу Альфреда де Мюссе.

¹⁶ Одно из усложнений техники показанного примера заключается в том, что модификация, которая заменяет пропущенное ругательство, должна обозначать только намек на это ругательство, к которому приводит процесс умозаключения.

¹⁷ На технику этой остроты оказывает влияние еще и другой момент, упоминание о котором я приберегаю для дальнейшего изложения. Он касается характерной черты содержания модификации. (Изображение путем противоположности, бессмыслицы.) Технике остроумия ничто не препятствует пользоваться одновременно многими приемами, которые мы можем изучать только последовательно.

земледельческим занятиям, господин N. сказал о нем: «Он, как Цинциннат, вернулся на свое место перед плугом». Римлянин Цинциннат, которого тоже оторвали от земледелия, чтобы сделать министром, снова занял свое место позади плуга. Перед плугом же идет, как известно, только бык.

Удачным сгущением с небольшой модификацией является также высказанное Карлом Краусом сообщение об одном так называемом револьвер-журналисте, который поехал в одну из Балканских стран восточным *express*-поездом. Очевидно, в этом слове имеется совпадение двух других слов: «экспресс-поезд» и «*Erpressung*» («шантаж», «вымогательство»). Вследствие связи между ними элемент «*Erpressung*» оказывается только требуемой от слова «*express*-поезд» модификацией. Эта острота, симулирующая опечатку, представляет для нас и другой интерес.

Мы легко могли бы в значительной мере умножить число этих примеров, но, я думаю, нет нужды в новых случаях, чтобы уловить характер техники во второй группе — это сгущение с модификацией. Если мы сравним вторую группу с первой, техника которой состояла в сгущении со словообразованием путем смешивания, то мы легко заметим, что разница между ними несущественная и переход от одной группы к другой выражен не резко. Словообразование путем смешивания и модификация подпадают под понятие заместительного образования, и, если угодно, мы могли бы описать словообразование путем смешивания так же, как модификацию основного слова другим словом.

Но здесь мы должны сделать первую остановку и спросить себя, каким известным в литературе достоинством обладают целиком или отчасти полученные нами модификации острот. Очевидно, краткостью, которую Жан Поль называет душой остроты. Но краткость сама по себе еще не остроумна; иначе каждое лаконическое выражение было бы остротой. Краткость остроты должна быть особого рода. Мы вспоминаем, что Липпс сделал попытку точнее описать особенность краткости остроумия. Наше же исследование установило и доказало, что краткость остроумия часто является результатом особого процесса, который оставляет в тексте остроты второй след — заместительное образование. Но при применении процесса редукции, который имел целью упразднить своеобразный процесс сгущения, мы нашли также, что острота зависит только от словесного выражения, которое создается в процессе сгущения. Естественно, что теперь весь наш интерес сосредоточится на этом странном процессе, до сих пор не оцененном в должной мере. Мы все еще никак не можем понять, как из него может возникнуть самое ценное в остроумии: удовольствие, которое оно доставляет нам.

Известны ли в какой-либо другой области духовной жизни подобные процессы, которые мы описали здесь как технику остроумия? Да, в одной-единственной и, по-видимому, очень отдаленной области. В 1900 году я выпустил в свет книгу, которая, как показывает ее заглавие «Толкование сновидений», делает попытку объяснить загадку сновидений и считает их производными нормальной духовной деятельности. Я имел там основание противопоставить явное, часто странное содержание сновидений латентным, но вполне логичным мыслям, из которых оно создается. При этом я провел тщательное исследование процессов, которые создают сновидение из латентных мыслей во время сна, и анализ психических сил, которые принимают участие в этом превращении. Совокупность процессов превращения я назвал работой сна. Частью этой работы я считаю процесс сгущения, который обнаруживает величайшее сходство с процессом сгущения в технике остроумия, ведет, подобно ему, к укорочению сновидения и создает заместительные образования такого же характера. Каждый помнит в своих сновидениях смешанные образы лиц и даже предметов. Во время сна также образуются слова, которые затем можно разложить путем анализа (например, Автодидаскер = Автодидакт + Ласкер). В других случаях, встречающихся, быть может, еще чаще, сгущающая работа сновидения создает не смешанные образы, а картины, вполне тождественные предмету или лицу, иногда с изменениями, происходящими из другого источника. Следовательно, в этих случаях мы имеем такие же модификации, как в остротах господина N. Мы не можем сомневаться в том,

что и в одном, и в другом случае мы имеем один и тот же психический процесс, который узнаем по идентичным результатам. Столь далеко идущая аналогия между техникой остроумия и работой сна должна, конечно, повысить наш интерес к технике остроумия и пробудить в нас надежду извлечь из сравнения остроты со сновидением нечто новое для объяснения остроумия. Но мы временно обложим эту работу ввиду того, что исследовали технику остроумия лишь в очень небольшом количестве случаев, и поэтому не знаем, существует ли та аналогия, которую мы хотим провести. Итак, мы прекращаем сравнение со сновидением и возвращаемся опять к технике остроумия, прерывая в этом месте нить нашего исследования, которое мы в дальнейшем, быть может, вновь продолжим.

Первое, что мы хотим узнать, — можно ли доказать, что процесс сгущения с заместительным образованием во всех остротах составляет общую характерную черту техники остроумия?

Я вспоминаю об одной остроте, которая осталась у меня в памяти в силу особых обстоятельств. Один из великих учителей моей молодости, которого мы не считали способным оценить остроту и от которого никогда не слышали ни одной его собственной остроты, пришел однажды улыбаясь в институт и дал охотнее, чем когда-либо раньше, ответ по поводу своего веселого настроения: «Я прочел великолепную остроту. В парижский салон был введен молодой человек, который являлся родственником великого Жан-Жака Руссо и носил эту же фамилию. Кроме того, он был рыжеволосым. Но он вел себя так неловко, что хозяйка дома, критикуя его, обратилась к гр-ну, который его представил: «*Vous m'avez fait connaitre un jeune homme roux et sot, mais non pas un Rousseau*»¹⁸. И он снова засмеялся.

Это, по системе авторов, острота по созвучию, и острота не перворазрядная играющая собственным именем так же, как и острота капуцина из «Лагеря Валленштейна», которая, как известно, построена по образцу Абрахама Санта-Клара:

*Lasst sich nennen den Wallensteien, ja freilich ist er uns alien ein Stin des Anstosses und Argernisses*¹⁹.

Но какова же техника этой остроты?

Теперь оказывается, что характерная черта, которую мы, быть может, надеялись доказать во всех случаях, исчезает уже в первом новом случае. Здесь нет никакого пропуска и никакого укорочения. Дама высказывает в остроте почти все, что мы можем предположить в ее мыслях.

«Вы заинтересовали меня родственником Жан-Жака Руссо; быть может, его родственником по духу. А оказывается, что это рыжий глупый юнец (*roux et sot*)». Я, правда, сделал здесь добавление, вставку, но от этой попытки редукции острота не исчезает. Она остается, так как осталось созвучие

Rousseau

roux sot

Это доказывает, что сгущение с заместительным образованием не принимало никакого участия в рождении этой остроты.

Но что же оказывается? Новые попытки редукции могут показать мне, что эта острота остается устойчивой до тех пор, пока фамилия Rousseau не заменяется другой. Я ставлю, например, вместо нее фамилию Racine, и тотчас критика дамы, которая может иметь место,

¹⁸ «Вы познакомили меня с рыжим и глупым, однако он не Руссо».

¹⁹ И Валленштейном ведь зваться привык:

Я, дескать, камень — какой вам опоры?

Подлинно — камень соблазна и ссоры!

Библиотека всемирной литературы. Европейские классики. Шиллер. Т. II. Лагерь Валленштейна. С. 20. Перевод Л. Мея. Москва, 1913. — Примеч. перев.

Что эта острота в силу другого момента заслуживает еще более высокой оценки, можно будет показать лишь в дальнейшем.

как и раньше, теряет след остроумия. Теперь я знаю, где мне искать технику этой остроты, но я еще колеблюсь формулировать ее. Я пытаюсь толковать следующим образом: техника остроты заключается в том, что одно и то же слово — фамилия — выступает в двух вариантах: один раз — как единое целое, а затем — разделенное на свои слоги, как шарада.

Я могу привести несколько примеров, которые по своей технике вполне идентичны с этим.

Одна итальянка отомстила Наполеону I за бестактную остроту, основанную на этой же технике двоякого применения. На придворном балу он сказал ей, указывая на ее поселян: «Tutti gli Italiani danzando si male»²⁰, на что она метко возразила: «Non tutti, та buona parte»²¹. (Брилль, I. с.)

(По Т. Фишеру и К. Фишеру.) Когда в Берлине была однажды поставлена «Антигона», критика нашла, что исполнению недоставало характера античности. Берлинское остроумие усвоило эту критику в следующем виде: Antik? Oh, nee (Антично? О нет.)

Antik? Oh, nee

Antigone

Во врачебных кругах популярна аналогичная острота, рожденная путем разделения. Когда врач допрашивает одного из своих юных пациентов, не занимался ли он когда-нибудь мастурбацией, он, вероятно, не слышит другого ответа, кроме: «O па, nie (О нет, никогда)»

O па, nie

Opanie

Во всех трех примерах, которые достаточны для этого вида остроты, имеет место одна и та же техника остроумия. Слово употребляется в них двояко: один раз — целиком, другой раз — разделенное на слоги, причем в этом разделении слоги получают совершенно другой смысл²².

Многократное употребление одного и того же слова (один раз — как чего-то целого, а затем — слогов, на которые оно распадается) является первым встреченным нами случаем уклонения от техники сгущения. После краткого размышления мы можем догадаться из множества приходящих нам в голову примеров, что новооткрытая нами техника вряд ли ограничивается одним этим приемом. Очевидно, имеется необозримое, на первый взгляд, число всевозможных приемов, прибегая к которым можно использовать одно и то же слово или один и тот же набор слов для многократного применения в предложении. Должны ли все эти возможности учитываться нами как технические приемы остроумия? По-видимому, да. Нижеследующие примеры острот покажут это.

Можно, прежде всего, взять один и тот же набор слов и только немного изменить их

²⁰ «Все итальянцы танцуют так плохо».

²¹ «Нет, не все, но добрая часть».

²² Удачность этих острот основана на том, что одновременно нашел себе применение другой технический прием, гораздо более высокого порядка (см. ниже). Кроме того, я могу в этом месте обратить внимание на отношение остроты к загадке. Философ Франц Brentano создал особый вид загадок. В них нужно отгадать один-два слога, которые, будучи присоединены к слову или находясь с ним в том или ином сочетании, придают ему другой смысл. Например:

«Кузнец, таз куя, сказал тоскуя: «Лучше таз ковать, чем тосковать». Или: «Wie du den Inder hast verschrieben, in der Hast verschrieben?» («Как ты описал индийца, записывая в спешке?»)

Слоги, которые нужно отгадать, заменяются в предложении слогом «dal», повторяемым соответственно каждому недостающему слогу. Коллега Brentano остроумно отомстил ему, когда услышал о помолвке философа, человека уже в зрелых годах, спросив: «Dal daldal daldaldal?» (Brentano brennt-a-no? Brentano не пылает ли?)

В чем же заключается разница между этими загадками и приведенными выше остротами? В том, что в загадках техника дана как условие и нужно отгадать текст, в то время как в остротах дан текст, а техника скрыта.

порядок. Чем незначительнее изменение и скорее создается впечатление, что теми же словами выражена мысль все же отличная от первой, тем удачнее в техническом отношении полученная острота.

Д. Шпитцер (Wiener Spaziergange, II. Bd., S. 42):

«Супружеская чета Х. живет на широкую ногу, По мнению одних, муж много заработал и при этом отложил себе (sich zuriickgelegt) немного; по мнению других, жена немного прилегла (sich zuriickgelegt) и при этом много заработала»²³.

Это прямо-таки чертовски удачная острота! И с помощью каких незначительных средств она создана! Много заработал — немного отложил (sich zuriickgelegt), немного прилегла (sich zuriickgelegt) — много заработала. Это является собственно ничем иным, как перестановкой обеих фраз, после которой сказанное о муже резко отличается от сказанного о жене. Конечно, и здесь это опять-таки не исчерпывает всей техники этой остроты²⁴.

Большой простор открывается технике остроумия, когда при «многократном употреблении одного и того же материала» применяются слова, ставшие источником остроты, причем в некоторых случаях — в неизменном виде, в других — с небольшой модификацией.

Вот, например, еще одна острота господина N.

Он услышал от одного человека, который сам был рожден евреем, враждебный отзыв о характере евреев. «Да, — подумал он про себя. — Ваш антисемитизм (ante — прежде) был мне известен, но ваш антисемитизм является для меня новостью».

Здесь изменена только одна буква, модификация которой при невыразительном произношении едва может быть уловлена. Этот пример напоминает о других остротах господина N., основанных на модификации, но в отличие от тех этой не доставляет сгущения. В самой остроте сказано все, что следовало сказать: «Я знаю, что раньше вы сами были евреем. Поэтому меня и удивляет, что именно вы ругаете евреев». Прекрасным примером такой остроты, возникающей путем модификации, является также известное восклицание: Traduttore — Traditore!

Сходство, граничащее почти с тождественностью, создает для переводчика настоятельную необходимость стать нарушителем закона в отношении к своему автору²⁵.

Разнообразие возможных небольших модификаций в таких остротах очень велико,²⁶ и среди них нет одинаковых.

Вот острота, имевшая место на юридическом экзамене! Кандидат должен перевести место из Corpus juris:

«Labeo²⁶ ait... (Я проваливаюсь, говорит он)»...

«Вы провалились, говорю я», — заявляет экзаменатор и на этом заканчивает экзамен. Кто ошибочно признает имя великого ученого-юриста за слово, к тому же неправильно переводя его, тот, конечно, не заслуживает лучшего отношения. Но техника остроты заключается в том, что для наказания кандидата экзаменатор применил почти те же слова, которые обнаружили пробел в знаниях сдающего. Эта острота является, кроме того, примером находчивости, техника которой, как можно будет показать, немногим отличается

²³ Острота основана на двояком значении слова «sich zuriicklegen»: отложить и прилечь. — Примеч. перев.

²⁴ Равно как не исчерпывает этот механизм отличной, приведенной у Брилля остроты Оливера Уэвделла Холмса: «Put not your trust in money, but put your money in trust». Здесь предсказывается противоречие, которое не наступает. Вторая часть этого предложения упраздняет противоречие. Кроме того, это хороший пример непереводимости острот с такой техникой.

²⁵ Брибль цитирует вполне аналогичную остроту, основанную на модификации amantes — amentes (влюбленные — дураки).

²⁶ Labeo — Лабеев, великий юрист. — Примеч. перев.

от анализируемой здесь техники остроумия.

Слова являются пластическим материалом, с которым можно поступать по-разному. Есть слова, которые в отдельных случаях утрачивают свое первоначальное прямое значение. В одной остроте Лихтенберга подчеркнуты именно те соотношения, при которых потерявшие свой первоначальный смысл слова снова должны получить его.

«Как идут дела?» — спросил слепой хромого. «Как видите», — ответил хромой слепому.

В немецком языке (как и в русском) есть слова, которые могут быть в одном случае полны глубокого смысла, а в другом — смысл их может быть незначительным. Словам этим придается не одно значение. Из одного корня могут развиваться две различные производные: одна — в слово, имеющее определенное значение, другая — в потерявшие свое прямое значение суффиксы и приставки; тем не менее оба слова произносятся тождественно. Созвучие между полным значения словом и потерявшими свое значение слогами может быть и случайным. В обоих случаях техника остроумия может извлечь пользу из таких соотношений речевого материала.

Шлейермахеру приписывается, например, острота, которая важна для нас как наглядный пример такого технического приема: «Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft»²⁷.

Это, безусловно, остроумно, хотя и недостаточно тонко для остроты. Здесь отпадает много моментов, что может ввести в заблуждение при анализе других видов острот, пока мы не исследуем каждый из них в отдельности. Мысль, выраженная в этом тексте, нельзя назвать ценной. Она дает совсем неудовлетворительное определение ревности. Здесь нет и речи о «смысле в бессмыслице», о «скрытом смысле», о «смущении и внезапном уяснении». Здесь даже при величайшей натяжке нельзя найти контраста представлений и только с большой натяжкой можно увидеть контраст между словами и тем, что они означают. Здесь нельзя найти никакого укорочения; наоборот, текст производит впечатление многоречивости. И все же это острота и даже очень совершенная. Ее единственная бросающаяся в глаза характерная черта является вместе с тем той чертой, с упразднением которой исчезнет острота. Заключается она в том, что одни и те же слова подвергаются здесь многократному употреблению. Затем нужно решить, можно ли отнести эту остроту к разряду тех, в которых слово употребляется один раз как целое, а затем — разделенное на слоги (как Rousseau, Antigone). Или же оно относится к другому разряду, в котором разнородный смысл создается благодаря употреблению составных частей слова, имеющих конкретное значение, и потерявших его. Кроме этого, заслуживает внимания еще один момент техники остроумия. Здесь создана необычная связь, принят вид унификации, при котором ревность определяется своим собственным термином. И это тоже, как мы здесь рассмотрим, является элементом техники остроумия. Оба этих момента будут, таким образом, достаточны для определения искомого характера остроумия.

Если мы еще глубже задумаемся в разнообразие «многократного употребления» одного и того же слова, то заметим, что имеем перед собой формы «двусмысленности» или «игры слов», которые давно уже общеизвестны и оценены в качестве технических приемов остроумия.

Зачем же мы старались открыть нечто новое, если могли позаимствовать его из самой поверхностной статьи об остроумии? В свое оправдание могу привести только то, что подчеркиваю в этом самом феномене разговорного выражения еще и другую сторону. То, что другие авторы называют «игривым характером» остроумия, у нас относится к разряду «многократного употребления».

Другие случаи многократного употребления, которые допустимо объединить под

²⁷ «Ревность — это страсть, которая ревностно выискивает, что может причинить страдание». В русском переводе сохранился только намек на созвучие слов: ревность — ревностно, страсть — страдание. — Примеч. перев.

названием «двусмысленности» в новую третью группу, можно отнести к разрядам, которые резко не отличаются друг от друга, как и вся третья группа не очень отличается от второй.

Прежде всего существуют:

А. Случаи двусмысленности имени собственного и его вещественного значения. Например: «*Druck dich aus unserer Gesellschaft ab, Pistol*» (у Шекспира), что в переводе может означать «Убирайся из нашего общества, Пистоль» и «Спусти курок в нашем обществе, пистолет».

«*Mehr Hof, als Freienung*» («Больше ухаживаний, чем сватовства»), — сказал остроумный житель Вены по адресу нескольких красивых девушек, за которыми долго ухаживали, но они все еще не нашли себе мужей. С другой стороны, «*Hof*» и «*Freienung*» — две примыкающие друг к другу площади в центре Вены.

[Аналогичные примеры такой двусмысленности дают в диктантах для испытания сообразительности учеников. Например, «В деревне Волки церковь с ели». Прекрасный образец такого остроумия дан в первой части трилогии А. Толстого «Смерть Иоанна Грозного». «По нитке с миру собираю, царь, Нагому на рубаху», — говорит шут о боярине Нагом — Перев.]

Там, где имя собственное нельзя употребить (точнее говоря, где им нельзя злоупотреблять), двусмысленность может быть достигнута путем известных нам небольших модификаций:

«Почему французы отказались от Лознгрин?» — спрашивали в прошедшие времена. Ответ гласил:

Б. Двусмысленность вещественного и метафорического значения слова стала обильным источником для развития техники остроумия. Привожу такой пример. Один коллега — врач, известный остряк — сказал однажды поэту Артуру Шнитцлеру: «Я не удивляюсь, что ты стал известным поэтом. Ведь у твоего отца уже нашлось зеркало для его современников». Зеркало, которым пользовался отец поэта, известный врач Шнитцлер, было ларингоскопом. По известному выражению Гамлета, цель драмы, а также поэта, создающего ее, «была, есть и будет — отражать в себе природу; добро, зло, время и люди должны видеть себя в нем, как в зеркале» (сцена 2. Перевод Кронеберга).

В. Собственно двусмысленность или игра слов; так сказать, идеальный случай многократного употребления. Над словом не производят никаких насильственных манипуляций. Оно не расчленяется на слоги, составляющие его; нет нужды подвергать его какой-либо модификации; не нужно смешивать область, к которой оно принадлежит (допустим, имя собственное), с другой областью. В таком виде, в каком оно находится и стоит в общей структуре фразы, оно может выражать двоякий смысл при стечении некоторых обстоятельств.

В нашем распоряжении имеется много таких примеров.

По К. Фишеру: Одним из первых актов последнего Наполеона во время его регентства явилась конфискация имущества Орлеанского дома. Удачная игра слов создала тогда фразу: «*C'est le premier vol de l'aigle*». «*Vol*» означает полет, а также грабеж.

Людовик XV захотел испытать остроумие одного из своих придворных, о таланте которого ему рассказывали. При первом удобном случае он приказывает кавалеру сострить над ним самим; то есть он сам, король, хочет быть «сюжетом» этой остроты. Придворный ответил удачной пословицей: «*Le roi n'est pas sujet*». «*Sujet*» означает также и «подданный».

Врач, отходящий от постели больной женщины, говорит, покачивая головой, сопровождающему его супругу: «Эта женщина мне не нравится». «Мне она уже давно не нравится», — поспешно соглашается муж. Врач имеет в виду, разумеется, состояние здоровья больной женщины, но он выразил свое опасение за больную такими словами, что муж нашел в них выражение своего супружеского отношения.

Гейне сказал об одной сатирической комедии: «Эта сатира не была бы такой едкой, если бы поэт имел больше еды». Эта острота является скорее примером метафорической и

обыденной двусмысленности, чем примером чистой игры слов. Но кому охота держаться здесь точных разграничений?

Другой хороший пример приводятся некоторыми авторами (Хейманс, Липпс) в форме, затрудняющей понимание игры слов²⁸. Правильное изложение и формулировку этой остроты я нашел недавно в одном, правда, малораспространенном сборнике острот²⁹.

«Сафир встретился однажды с Ротшильдом. Когда они немного поболтали друг с другом, Сафир сказал: «Послушайте, Ротшильд, моя касса истощилась. Не могли бы вы одолжить мне 100 дукатов?». «Пожалуй, — ответил Ротшильд, — это для меня пустяки. Но только при условии, что вы сострижете». «Для меня это тоже пустяки», — возразил Сафир. «Хорошо, тогда приходите завтра ко мне в контору». Сафир явился точно в назначенное время. «Ах, — сказал Ротшильд, увидя вошедшего Сафира, — вы пришли за (kommen um) своими 100 дукатами?» «Нет, — возразил тот. — Это вы проиграли (kommen um) свои 100 дукатов, так как мне до конца дней своих не придет в голову возвратить их вам».

Что представляют\выставляют — (stellen vor) эти статуи?» спросил приезжий у жителя Берлина при виде ряда памятников на площади. «Что? — ответил тот. — Либо правую, либо левую ногу»³⁰.

(«Куда вы попадете, если воткнете нож между четвертым и пятым ребром?» — спрашивает профессор на экзамене у студен-та-медика. «В тюрьму», — отвечает не задумываясь последний. — Перев.)³¹

Гейне в «Путешествии на Гарц»: «Притом же в настоящую минуту я не припомню имен всех студентов, а между профессорами есть такие, которые покамест не имеют никакого имени».

Мы приобретем навык в дифференцированной диагностике, если прибавим сюда другую общеизвестную профессорскую остроту: «Разница между ординарным и экстраординарным профессором заключается в том, что ординарные не совершили ничего экстраординарного, а экстраординарные не совершили ничего ординарного». Это, конечно, игра двумя значениями слов «ординарный» и «экстраординарный»: штатный и внештатный, с одной стороны, и способный или выдающийся — с другой. Но сходство этой остроты с другими известными нам примерами напоминает о том, что здесь гораздо больше бросается в глаза многократное употребление, чем двусмысленность. В этом предложении не слышно ничего другого, кроме повторяющегося «ординарный», то как. такового, то негативно модифицированного. Кроме того, здесь опять-таки прибегают к уловке: понятие определяется и подробнее описывается при помощи своего же подлинного текста (сравните Eifersucht ist eine Leidenschaft и т. д.); два коррелятивных понятия определяются, хотя бы и негативно, одно через другое, что создает искусственное ограничение. Наконец, здесь можно отметить также и точку зрения унификации, создание более тесной внутренней связи между элементами выражения, чем этого можно было бы ожидать, если судить по их природе.

²⁸ может прийти, чтобы принести 300 гульденов. К тому же он как кредитор должен не приносить, а требовать. Комизм состоит в том, что слова Сафира могут рассматриваться, таким образом, одновременно как содержащие определенный смысл и как бессмыслица» (Липпс).

Содержание изложенной истории передано так подробно с целью показать, что техника этой остроты гораздо проще, чем думает Липпс. Сафир приходит не для того чтобы принести 300 гульденов, а для того чтобы взять их у богача. Таким образом, отпадают рассуждения о «смысле и бессмыслице» в этой остроте.

²⁹ Das grosse Buch der Witze, gesammelt und herausgegeben von Willy Hermann. Berlin, 1904.

³⁰ Дальнейший анализ этой игры слов см. ниже.

³¹ Эта острота, аналогичная по своей технике предыдущей, приведена из-за невозможности дать удовлетворительный перевод первой. — Примеч. перев.

Гейне в «Путешествии на Гарц»: «Шефер поклонился мне, как собрату, потому что он тоже писатель и часто упоминал обо мне в своих полугодовых отчетах. Кроме того, он часто цитировал меня и когда не заставал меня дома, то всегда был так добр, что писал цитату мелом на двери моей комнаты³².

(Всякий пусть узнает и услышит,
Что прекрасней солнца в мире нет:

Красоты подобной не опишет Ни судебный пристав, ни поэт).

А. д'Актиль («Афоризмы»)¹

«Wiener Spaziergänger» Д. Шпитцер нашел для социального типа, расцветшего во времена реакции, лаконическую, но очень остроумную, биографическую характеристику:

«Железный лоб — железная касса — железная корона». (Последняя — это орден, награждение которым переводило его кавалера в дворянское сословие.)

Превосходная унификация — все как будто сделано из железа! Различные, но не очень резко контрастирующие друг с другом толкования эпитета «железный» делают допустимыми эти «многократные употребления».

Другая игра слов может облегчить нам переход к новому подвиду техники даусмысленности. Упомянутый выше остроумный коллега во время дела Дрейфуса стал автором следующей остроты:

«Эта девушка напоминает мне Дрейфуса. Армия не верит в ее невинность».

Слово «невинность», на двусмысленности которого построена эта острота, в одном случае имеет смысл, противоположный виновности, преступлению; в другом случае — смысл противоположный сексуальной опытности. Существует много примеров такого рода двусмысленностей, в которых действие остроты сводится к сексуальному толкованию. Для этой группы можно было бы сохранить термин «двоякое толкование».

Прекрасный пример такой двояко толкуемой остроты представляет уже приводимая здесь острота, сообщенная Д. Шпитцером.

«По мнению одних, муж много заработал и при этом немного отложил себе (*sich zurückge'legt*), по мнению других, жена немного прилегла (*sich zurückgelegt*) и при этом много заработала».

Но если сравнить этот пример двусмысленности с другими примерами, то бросается в глаза разница, которая очень важна в технике остроумия. В остроте о «невинности» один смысл слова так же доступен нашему пониманию, как и другой. Мы на самом деле не сможем объяснить, какое значение слова является более употребительным и более подходящим — сексуальное или несексуальное. Иначе обстоит дело в примере Д. Шпитцера, где один банальный смысл слов «*sich etwas zurückgelegt*», больше бросающийся в глаза, как будто прячет и скрывает сексуальный смысл, который может совсем ускользнуть от простодушного читателя. Приведем противоположный пример, где нет такого сокрытия сексуального значения. Например, гейневская характеристика услужливой дамы: «*Sie konnte nichts abschlagen, ausser ihr Wasser*» (что в переводе может означать: «Она не может ни в чем отказать, кроме своей вода» или «Она не может мочиться»).

Все это звучит как сальность, и остроумие замечается с трудом³³. Такая особенность, когда оба значения двусмысленности неодинаково бросаются в глаза, может иметь место и при остротах несексуального характера. Это происходит оттого, что первый смысл сам по

³² Г. Гейне. Собр. соч. Т. I. С. 114, Спб., 1904. Изд. П-е. Перевод П. Вейнберга. Цитировать — здесь означает вызывать в суд, цитата — вызов в суд. — Примеч. перев.

¹Чтец-декламатор. Т. V. Юмористический. С. 17. Вставка перев.

³³ Сравни с К. Фишером, предлагающим для таких двусмысленных острот, в которых оба значения не стоят в одинаковой мере на первом плане, а одно значение оттесняется другим, название «двоякое толкования», хотя выше я употребил его несколько в ином смысле. Такое название — вещь условная. На практике в языке не закрепилось какое-либо одно из определений.

себе более употребителен или он особенно подчеркнут благодаря связи с другими частями предложения (например, «c'est le premier vol de l'aigle»). Все эти случаи я предлагаю называть двусмысленностью с намеком.

Мы уже рассмотрели немало различных технических приемов остроумия, и я боюсь, что можем потерять их общий обзор. Попробуем поэтому дать их сжатый перечень.

I. Сгущение:

- а) со смешанным словообразованием,
- б) с модификацией.

II. Употребление одного и того же материала:

- в) целого и, части,
- г) перестановка,
- д) небольшая модификация,
- е) одни и те же слова, употребленные в полном смысле и потерявшие первоначальный смысл.

III. Двусмысленность:

- ж) обозначение собственного имени и вещи,
- з) метафорическое и вещественное значение,
- и) собственно двусмысленность (игра слов),
- к) двойное толкование,
- л) двусмысленность с намеком.

Это разнообразие сбивает нас. Оно может вызвать в нас недовольство тем, что мы слишком много внимания уделили техническим приемам остроумия, и может показаться, что мы переоцениваем их значение для познания сущности остроумия. Это предположение вполне возможно, несмотря на тот неопровержимый факт, что острота всякий раз исчезает, как только мы устраним работу этих технических приемов в способе выражения. Поэтому мы укажем также и на то, что ищем единство в этом разнообразии. Возможно, что все эти технические приемы можно привести к одному знаменателю. Соединить вторую и третью группу, как мы уже сказали, нетрудно. Двусмысленность, игра слов являются только идеальным случаем употребления одного и того же материала. Последняя рубрика является, очевидно, при этом более объемлющим понятием. Примеры разделения, перестановки одного и того же материала, многократного употребления с легкой модификацией (пункты в, г, д) могли бы не без некоторой натяжки быть отнесены к категории двусмысленности. Но что общего между техникой первой группы (сгущением со смешанным словообразованием) и техникой двух последних групп с многократным употреблением одного и того же материала?

Я думаю, что между ними существует простая и очевидная связь. Употребление одного и того же материала является ведь только частным случаем сгущения. Игра слов является ничем иным, как сгущением без заместительного образования. То есть сгущение остается всеобъемлющей категорией. Тенденция уплотнения или, правильнее, экономии языковых средств управляет всеми этими техническими приемами. Все является, по-видимому, результатом экономии, как говорит принц Гамлет («Thrift, Horatio, Thrift»).

Проверим эту экономию на отдельных примерах. «C'est le premier vol de l'aigle» («Это первый полет орла»). Да, но это полет с целью грабежа. «Vol», к счастью для существования этой остроты, означает и «полет», и «грабеж». Не произошло ли при этом сгущение и экономия? По всей вероятности, вся вторая мысль опущена и при этом без всякой замены. Двусмысленность слова «vol» сделала излишним такую замену. Или, что будет тоже правильно, слово «vol» содержит в себе замену подавленной мысли без того, чтобы первому предложению понадобилось присоединение нового предложения или какого-либо изменения. В этом и заключается соль подобной двусмысленности.

Другой пример. «Железный лоб — железная касса — железная корона». Какая чрезвычайная экономия в изложении мысли в сравнении с изложением, где слово «железный» не имело бы места! «При достаточной дерзости и бессовестности нетрудно

нажить большое состояние, и в награду за такие заслуги, разумеется, не замедлит явиться дворянство».

Да, в этих примерах сгущение, а следовательно и экономия, очевидны. Но их наличие нужно доказать во всех примерах. Где же скрыта экономия в таких остротах как «Rousseau — roux et sot», «Antigone — antik? o — пее», в которых мы сперва не заметили сгущения и это побудило нас прежде всего установить технику многократного употребления одного и того же материала? Здесь мы, конечно, не обойдемся одним процессом сгущения. Но если мы заменим его покрывающим понятием «экономия», то дело пойдет на лад. Что мы экономим в примерах Rousseau, Антигоны и т. д. — легко сказать. Мы экономим материал на критику и размер образования суждения. Они уже даны в самих именах. В примере «Leidenschaft — Eifersucht» мы экономим, отказавшись от утомительного составления определения «Eifersucht, Leidenschaft» и «Eifer sucht, Leiden schafft». Если прибавить сюда вспомогательные слова, то определение готово. То же относится и ко всем другим проанализированным нами примерам. Там, где экономии меньше всего, как в игре слов Сафира, там все же сэкономлена, по крайней мере, необходимость вновь создавать текст ответа:

«Вы пришли за\проиграли 100 дукатов» («Sie kommen urn ihre 100 Dukaten»).

Текст обращения достаточен и для ответа. Этого мало, но именно в этом малом и заключается острота. Многократное употребление одного и того же материала и для обращения, и для ответа относится, конечно, к «экономии». Совсем так, как Гамлет образно показывает на слишком короткий срок между смертью своего отца и свадьбой своей матери:

От похоронных пирогов осталось

Холодное на свадебный обед.

(Перевод А. Кронеберга.)

Но прежде чем принять «тенденцию к экономии» как всеобщую характерную черту техники остроумия и поставить вопрос, откуда она происходит, что она означает и каким образом из нее вытекает удовольствие от остроты, мы хотим дать место сомнению, которое заслуживает того, чтобы быть выслушанным. Возможно, что каждый технический прием остроумия проявляет тенденцию к экономии в способе своего выражения, но обратное положение, быть может, не имеет места. Не каждая экономия в способе выражения, не каждое сокращение уже в силу одного этого являются остротой. Мы стояли однажды перед этим вопросом, когда надеялись только доказать в каждой остроте процесс сгущения; и тогда уже сделали себе обоснованное возражение, что лаконизм еще не есть острота. Должен существовать, следовательно, особый вид сокращения и экономии, от которых зависит характер остроты. А пока мы не знаем этой особенности, то нахождение лишь общности в технических приемах остроумия не приблизит нас к разрешению нашей проблемы. Кроме того, мы находим в себе мужество сознаться, что эта экономия, создающая технику остроумия, не может нам импонировать. Она напоминает, быть может, экономию некоторых хозяек, которые тратят время и деньги на поездку на отдаленный базар только потому, что там можно купить овощи на несколько копеек дешевле. Какую экономию выгадывает остроумие благодаря своей технике? Произнесение нескольких новых слов, которые можно было бы, в большинстве случаев, найти без труда. Вместо этого острота лезет вон из кожи, чтобы найти одно слово, сразу раскрывающее смысл обеих мыслей. К тому же часто она должна превращать способ выражения первой мысли в неупотребительную форму, которая дала бы ей опорные точки для соединения со второй мыслью. Не было бы проще, легче и экономнее выразить обе мысли так, как это принято, хотя бы при этом и не осуществилась общность выражения? Не будет ли экономия, добытая выраженными словами, больше чем уничтожена излишней тратой интеллектуальной энергии? И кто при этом экономит, кому это нужно?

Мы пока можем избежать этих сомнений, если перенесем их в другую плоскость. Знаем ли мы уже на самом деле все виды техники остроумия? Конечно, будет предусмотрительнее собрать новые примеры и подвергнуть их анализу

Мы фактически не задумывались еще над одной большой, возможно самой многочисленной, группой острот и поддались, быть может, при этом влиянию низкой оценки, которая стала их уделом. Это те остроты, которые в общей совокупности называются каламбурами (Calembourgs — фр., Kalauer — нем.) и считаются низшей разновидностью остроумия, вероятно потому, что они — «самые дешевые» и могут быть созданы с затратой наименьшего количества энергии. И действительно, они предъявляют минимум требований к технике выражения, тогда как настоящая игра слов требует их максимума. И если в последнем случае два значения выражаются одним словом, то каламбур удовлетворяется тем, что слова, употребленные для обоих значений, обладают каким-нибудь большим-сходством — сходством их структуры, рифмоподобным созвучием, общностью некоторых начальных букв и т. п. Немало примеров таких, не совсем удачно названных «острот по созвучию» имеется в проповеди капуцина в «Лагере Валленштейна».

Не о войне здесь речь — о вине;
Лучше точить себе зубы — не сабли!
Что Оксенштирн вам — бычачий-то лоб?
Лучше коль целую тушу загреб!
Рейнские волны погибели полны;
Монастыри теперь все — пустыри;
Все-то аббатства и пустыни ныне
Стали не братства — прямые пустыни.
И представляет весь край благодатный
Край безобразия...
(Перевод Л. Мея.)

Особенно охотно острота модифицирует гласную букву в слове. Например, об одном враждебно относившемся к монархизму итальянском поэте, который затем был вынужден воспевать немецкого кайзера в гексаметрах, Хевези (Almanaccando, Reisen in Italien, с. 87) говорит: «Поскольку он не мог истребить Цезарей, то он упразднил цезуры».

При том множестве каламбуров, которые имеются в нашем распоряжении, особо интересно, быть может, отметить действительно неудачный пример, тяготивший Гейне. После того как он долгое время разыгрывал перед своей дамой «индийского принца» (Buch Legrand, гл. V), сбросил маску и признался: «Madame! Я вас обманул!.. Я так же был в Калькутте, как то калькуттское жаркое, которое я вчера ел на обед». Очевидно, недочет этой остроты заключается в том, что оба сходных слова не просто сходны — они идентичны. Птица, жаркое из которой он ел, называется так потому, что она происходит или должна происходить из той же самой Калькутты³⁴.

К. Фишер уделил этим формам остроты много внимания и хотел резко отделить их от «игры слов». «Каламбур — это неудачная игра слов, потому что он играет словом не как словом, а как созвучием». Игра же слов «переходит от созвучия слова в само слово». С другой стороны, он причисляет и такие остроты, как «фамиллионьярно», Антигона с «Antik? о лее» и т. д. к остротам по созвучию. Я не вижу необходимости следовать за ним в этом отношении. В игре слов само слово является для нас только звуковой картиной, с которой связывается тот или иной смысл. Практика языка и здесь не делает никакой резкой разницы. И если она относится к «каламбур» с пренебрежением, а к «игре слов» — с некоторым уважением, то эта оценка, по-видимому, обуславливается другими точками зрения, а не техническими приемами. Следует обратить внимание на то, какого рода остроты выслушиваются как «каламбуры». Есть люди, которые обладают даром, находясь в веселом расположении духа, в течение продолжительного времени отвечать каламбуром на каждое

³⁴ Аналогию этой остроты в русском языке можно было бы создать примерно в следующем виде: Человек, который выдавал себя за потомка князя Пожарского и который, наконец, сбросил с себя маску, воскликнул: «Я вас обманул... Я имею такое же отношение к Пожарскому, как и пожарские котлеты, которые я вчера ел на обед». — Примеч. перев.

обращение к ним. Один из моих друзей, являясь образцом скромности, тем не менее славится таким даром, когда речь заходит о его серьезных достижениях в науке. Однажды он совсем уморил общество своими каламбурами. Например, окружающие выразили удивление по поводу его выдержки. На это он ответил: «Ja, ich liege hier auf der Ka-Lauer», то есть «Да, я нахожусь в засаде». (Kalauer — каламбур.) Наконец, его попросили перестать каламбурить, но он поставил условие, чтоб его называли Poeta Kalaurea-tus. Оба этих примера являются отличными остротами, которые появились путем сгущения со смешанным словообразованием. («Ich liege hier auf der Lauer um Kalauer zu machen». — «Я нахожусь в засаде, чтобы каламбурить».)

Из спорных мнений о различиях между каламбуром и игрой слов мы заключаем, что каламбур не может помочь нам в изучении совершенно новой техники остроумия. Хотя он и не претендует на многосмысленное употребление одного и того же материала, центр тяжести в нем все же падает на повторение уже известного, на аналогию между участвующими в каламбуре словами. Таким образом, каламбур является только подвидом группы, вершина которой — в самой игре слов.

Но в действительности есть и такие остроты, в технике построения которых почти отсутствует связь с рассмотренными нами до сих пор группами.

Рассказывают о Гейне. Как-то вечером он встретился в парижском салоне с поэтом Солье и вступил с ним в беседу. В это время в зал вошел один из тех местных денежных королей, которых недаром сравнивают по богатству с Мидасом. Его тотчас окружила толпа, которая обходилась с ним с величайшей почтительностью. «Посмотрите-ка, — сказал Солье, обращаясь к Гейне, — как там девятнадцатое столетие поклоняется золотому тельцу». Бросив беглый взгляд на объект почитания, Гейне, словно внося поправку, сказал: «О, он должен быть уже старше». (К- Фишер.)

В чем заключается техника этой великолепной остроты? В игре слов, по мнению К. Фишера. «Например, слова «золотой телец» могут обозначать и Маммону, и служение идолу. В первом случае центром тяжести становится золото, во втором — изображение животного. Слова эти можно применить и для не совсем лестного прозвища какого-то человека, имеющего много денег и мало ума». Если мы уберем выражение «золотой телец», мы тем самым упраздним и остроту. Тогда Солье должен был бы сказать: «Посмотрите-ка, как люда лебезят перед дураком только потому, что он богат», а это вовсе не остроумно. Ответ Гейне тогда был бы тоже другим.

Но мы должны помнить, что речь идет вовсе не об удачном сравнении Солье, а об остроумном ответе Гейне. И тогда мы не имеем права касаться фразы о золотом тельце. Хотя эта фраза остается необходимым условием для слов Гейне, но редукция должна коснуться только этих последних. Если мы будем передавать содержание слов «О, он должен быть уже старше», то сможем заменить их примерно только так: «О, это уже больше не теленок, это уже взрослый бык». Итак, для остроты Гейне является излишним то, что он употребляет «золотой телец» не в метафорическом, а в личностном смысле, относя его к самому денежному тузу. Не содержалась ли уже эта двусмысленность в словах Солье!

Но что же? Мы замечаем, что эта редукция не совсем уничтожает остроту Гейне, а, наоборот, оставляет неприкосновенной ее сущность. Теперь дело обстоит так, что Солье говорит: «Посмотрите-ка, как там девятнадцатое столетие поклоняется золотому тельцу!», а Гейне отвечает: «О, это уже больше не телец, это уже бык». И в этом редуцированном изложении это все-таки острота. Другая же редукция слов Гейне невозможна.

Жаль, что в этом прекрасном примере содержатся такие сложные технические условия. На нем мы не можем прийти ни к какому выводу, поэтому оставим его и поищем другой пример, в котором надеемся уловить внутреннее родство с предыдущим.

Это одна из «купальных острот», которые имеют своей темой боязнь галицийских евреев перед купанием. Мы не требуем от наших примеров дворянской грамоты, не спрашиваем об их происхождении. Нам важно знать только об их способности вызвать у нас смех и о том, представляют ли они для нас теоретический интерес. Но именно еврейские

остроты больше всего отвечают обоим этим требованиям.

Два еврея встречаются вблизи бани. «Ты уже взял ванну?» — спрашивает один с ударением на слове «ванна». «Как, — спрашивает в свою очередь другой, — разве не хватает одной?»

[Один друг жалуется при встрече другому: «Дела идут очень плохо. Я потерял голову». «А кто ее нашел?» — спрашивает другой (перев.)].

Когда человек смеется от всего сердца над остротой, он не особенно расположен исследовать ее технику. Поэтому освоить приведенные анализы несколько трудно. «Это комическое недоразумение» — такое объяснение напрашивается легче всего. — Хорошо, но какова техника этой остроты? — Очевидно, двусмысленное употребление слова «взять» [«терять»]. Для одного — это бесцветный вспомогательный глагол; для другого — глагол в прямом значении. Итак, это случай слова, имеющего полный смысл и потерявшего свой первоначальный прямой смысл (группа II, п. е). Если мы заменим выражение «взять ванну» равноценным, более простым «купаться» [или во втором примере заменим «терять голову» словом «отчаиваться»], то острота пропадет. Ответ больше не подходит. Итак, острота происходит опять-таки за счет выражения «взять ванну» [«терять голову»].

И это верно. Однако кажется, что и в этом случае редукция поставлена не в нужном месте. Острота заключается не в первом предложении диалога, а в ответном: «Как? разве не хватает одной?» [«А кто ее нашел?»]. И ответ нельзя лишить заключенного в нем остроумия распространенностью изложения или изменением его, если это не нарушило его смысла. У нас создается впечатление, что в ответе второго собеседника недосмотр в применении слова «ванна» [«голова»] имеет больше значения, чем однозначность слова «взять» [«терять»]. Но мы и здесь видим это неясно и поэтому обратимся к третьему примеру.

Это опять-таки еврейская острота, но в ней только еврейские аксессуары, ядро же ее интернационально. Правда, и этот пример имеет свои нежелательные осложнения, но, к счастью, не те, которые препятствовали до сих пор ясности нашего понимания.

«Один обедневший человек занял у зажиточного знакомого 25 флоринов, уверив его в своем бедственном положении. В тот же день благотворитель застал его в ресторане, увидел перед ним тарелку семги с майонезом и стал упрекать: «Как, вы занимаете у меня деньги, а потом заказываете в ресторане семгу с майонезом? Для этого вам понадобились мои деньги?» «Я не понимаю, — отвечает должник. — Когда я не имею денег, я не могу кушать семгу с майонезом; когда я имею деньги, я не смею кушать семгу с майонезом. Когда же мне кушать семгу с майонезом?»

Здесь, наконец, уже нет следов двусмысленности. Повторение слов «семга с майонезом» тоже не включает в себе технику этой остроты, так как оно является не «многократным употреблением» одного и того же материала, а действительным повторением требуемого по содержанию выражения. Мы остаемся некоторое время беспомощными перед этим анализом и захотим, быть может, увильнуть от него, оспаривая за этим анекдотом, заставившим нас смеяться, характер остроты.

Но что замечательного можно сказать об ответе должника? Что ему поразительным образом придан характер логичности. Но это неправильно; ответ, конечно, нелогичен. Этот человек защищается тем, что, потратив данные ему займы деньги на лакомый кусок, он имеет на это право, и с невинным видом спрашивает, когда же он может есть семгу. Но это отнюдь не логичный ответ. Заимодавец упрекает его не в том, что ему захотелось семги как раз в тот день. Он только хочет сказать, что при своем нынешнем затруднительном положении тот вообще не имеет права думать о таких деликатесах. Этот единственно возможный смысл замечания обедневший бонвиван оставляет без внимания и фактически отвечает на что-то другое, как будто не поняв упрека.

Не заложена ли именно в увиливании ответа от неприятного вопроса техника этой остроты? Подобное искажение подлинного смысла, передвигание психологического акцента, можно было бы доказать и в обоих прежних примерах.

Оказывается, что это можно доказать очень легко и таким образом вскрыть подлинную

технику остроумия в этих примерах. Со-лье обращает внимание Гейне на то, что общество в девятнадцатом столетии почитает «золотого тельца», как это делали некогда иудеи в пустыне. На это должен был бы последовать, примерно, следующий ответ Гейне: «Да, такова человеческая природа, тысячелетия ничего не изменили», или еще что-нибудь вроде этого, выражающее 'его согласие с мнением Солье. Но Гейне уклоняется в своем ответе от упомянутых мыслей. Он отвечает не по существу; пользуется двусмысленностью, предоставляемой фразой «золотой телец», чтобы избрать побочный путь. Он выхватывает одну составную часть фразы «телец» и отвечает так, будто на это слово падало ударение в речи Солье: «О, это уже не телец» и т. д.

Еще яснее это уклонение в остроте о купании. Этот пример требует графического изображения.

Первый спрашивает: «Ты взял ванну?» Ударение падает на элемент «ванна».

Второй отвечает так, как будто вопрос гласил: «Ты взял ванну?» (С ударением на слове «взял».)

Текст «взял ванну» делает возможным только такое передвигание ударения. Если бы вопрос гласил: «Ты купался?», то, конечно, никакого передвигания не могло быть. Неостроумный ответ был бы тогда таков: «Купался? Что ты подразумеваешь? Я не знаю, что это такое». Техника же этой остроты заключается в перенесении ударения со слова «ванна» на слово «взять»^{35 36}.

Вернемся к примеру с «семгой с майонезом» как к самому чистому случаю передвигания. Проанализируем новое в этом примере в различных направлениях. Прежде всего мы должны как-нибудь назвать открытую здесь технику. Я предлагаю обозначить ее как передвигание, потому что сущность ее состоит в отклонении хода мыслей, в передвигании психологического акцента с начальной темы на другую. Затем нам надлежит заняться исследованием того, в каком отношении стоит техника передвигания к способу выражения остроты. Наш пример «семги с майонезом» указывает нам, что острота, возникающая путем передвигания, в высокой степени независима от словесного выражения. Она зависит не от слова, а от хода мыслей. Чтобы потерять ее, нам недостаточно произвести замену слов, если при этом сохранится смысл ответа. Редукция возможна только в том случае, если мы изменим ход мыслей и заставим лакомку прямо ответить на упрек, которого он сознательно не замечает в таком изложении остроты. Тогда редуцированное изложение будет гласить: «Я не могу отказать себе в том, что мне нравится. А откуда я беру деньги для этого — мне безразлично. Вот мое объяснение тому, почему я именно сегодня ем семгу с майонезом, после того как вы дали мне займы деньги». Но это уже была бы не острота, а цинизм.

Очень поучительно будет сравнить эту остроту с другой, очень близкой ей по смыслу.

Один человек, который часто выпивал, добывал себе средства к существованию тем, что давал уроки. Но его порок стал мало-помалу известен, из-за чего он потерял большинство своих клиентов. Один из его друзей решил взяться за его исправление.

³⁵ Ответ Гейне является комбинацией двух технических приемов остроумия: уклонения от прямого ответа и намека. Он ведь не говорит прямо, что это бык.

³⁶ Слово «взять» весьма пригодно для такой игры слов из-за своей многозначности. Вот чистый пример, которой я хочу привести в противовес вышеописанной остроте, созданной путем передвигания. «Известный биржевик и директор банка гуляет со своим другом по улице. Перед одним кафе он предлагает: «Войдем и возьмем что-нибудь». Друг удерживает его от этого: «Но господин тайный советник, там ведь есть люди».

[Все вышесказанное о выражении «взял ванну» относится и к аналогичному выражению «потерял голову». Первый друг говорит: «Я потерял голову!». Ответ второго «А кто нашел ее?» относится только к слову «потерял» и передвигает, таким образом, на это слово психологический акцент. Передвигание это облегчается до некоторой степени тем, что слово «терять» может быть употреблено в разнообразных значениях. Так, например, общеупотребительны выражения: терять почву под собой, терять надежду, терять счет, терять состояние, потерянный человек, растеряться и т. д. — Примеч. перев.]

«Посмотрите, — стал он увещевать бедолагу. — Вы могли бы иметь лучшие уроки в городе, если бы отказались от пьянства. Сделайте это». «Что вы мне предлагаете? — был негодующий ответ. — Я даю уроки, чтобы иметь возможность пить. Должен ли я отказаться пить, с тем чтобы иметь возможность получить уроки?»

Эта острота тоже имеет внешний вид логичности, который бросился нам в глаза в случае «семги с майонезом». Но это уже острота, возникающая не путем передвигания. Это прямой ответ на вопрос. Цинизм, который скрыт в первом случае, здесь откровенно признается. «Пьянство для меня — самое главное» — вот лейтмотив ответа. Техника этой остроты достаточно убога и не может объяснить нам ее воздействия. Она заключается лишь в перестановке одного и того же материала; строго говоря — лишь в трансформацию отношений между средством и целью, то есть между пьянством и получением уроков. Не оттеняя в редукции этого момента, я уничтожаю эту остроту, излагая ее примерно так: «Что это за бессмысленное требование? Главным для меня является пьянство, а не уроки. Уроки для меня только средство, чтобы иметь возможность пить дальше». Таким образом, острота произошла в действительности из способа выражения.

В остроте о купании зависимость остроты от текста («ты взял ванну?») очевидна, и при изменении текста пропадает острота. Здесь техника более сложная и является сочетанием двусмысленности (подвида «е») и передвигания. Текст вопроса допускает двусмысленность, и острота создается потому, что это, скорее, не ответ на поставленный вопрос, а реплика, связанная с побочными мыслями. Соответственно этому мы можем найти редукцию, которая делает возможным существование двусмысленности и все-таки упраздняет остроту только потому, что мы убираем передвигание:

«Ты взял ванну?» — «Что я должен был взять? Ванну? Что это такое?» Но это уже не острота, а неудачное или шутовское преувеличение.

[Соответственно этому аналогичная редукция остроты о «потере головы» гласила бы: «Я потерял голову». — «Каким образом? Ведь она крепко сидит на плечах» (перев.).]

Совсем такую же роль играет двусмысленность в остроте Гейне о «золотом тельце». Она дает возможность при ответе уклониться от описанного хода мыслей, причем такое же уклонение имеет место в остроте о «семге с майонезом», не примыкая в ней так близко к тексту. В редукции речь Солье и ответ Гейне гласили бы примерно так: «Вид этого общества, лебезящего перед человеком только потому, что он богат, живо напоминает мне о поклонении золотому тельцу». А Гейне отвечает: «То, что его так почитают за его богатство, это еще небольшая беда. Вы еще учтите, что ему прощают его глупость за его богатство». Этим при сохранении двусмысленности была бы упразднена острота, возникающая при передвигании.

Теперь мы должны ответить на возражение, которое может появиться: Как разграничить эти мудреные различия, если они все-таки состоят в тесной связи друг с другом? Не является ли каждая двусмысленность поводом к передвиганию, к отклонению хода мыслей от одного смысла к другому? Или мы должны согласиться с тем, что «двусмысленность» и «передвигание» нужно считать представителями двух различных типов техники остроумия? Конечно, между двусмысленностью и передвиганием существует связь, но она не имеет ничего общего с нашим распознаванием технических приемов остроумия. При двусмысленности острота не содержит в себе ничего, кроме многократного толкования одного слова, что дает слушателю возможность найти переход от одной мысли к другой; причем переход этот можно было бы приблизительно, с некоторой натяжкой поставить наряду с передвиганием. При остроте же, возникающей от передвигания, она сама содержит ход мыслей, полученный от такого передвигания. Передвигание относится здесь к той работе, которая создала остроту, а не к той, которая необходима для ее понимания. Если это различие для нас не очевидно, то мы имеем в редукции верное средство, которое может наглядно показать нам его. Но мы не хотим оспаривать ценность этого возражения. Благодаря ему мы обратим внимание на то, что не должны сваливать в одну кучу психические процессы при образовании остроты (работа остроумия) с психическими

процессами при восприятии остроты (работа понимания). Только первые из них являются предметом нашего настоящего исследования.

Существуют ли еще и другие примеры техники передвигания? Их нелегко найти. Чистым примером, которому все же недостает логичности, так сильно подчеркиваемой в нашем образце этой категории острот, можно считать следующую остроту.

«Торговец лошадьми рекомендует покупателю верховую лошадь: «Если вы возьмете эту лошадь и сядете на нее в 4 часа утра, то в 6.30 вы будете в Прессбурге». — «А что я буду делать в Прессбурге в 6.30 утра?». 37³⁸

Передвигание здесь произведено блестяще. Торговец упоминает о раннем прибытии в маленький городок, очевидно имея в виду только показать на примере быстроту бега лошади. Покупатель же не обращает внимания на быстроходность лошади, в чем он не сомневается, а входит только в обсуждение чисел, упомянутых в примере. Редукцию этой остроты затем дать нетрудно.

Более сложным представляется другой, очень неясный по своей технике пример, который все же можно квалифицировать как двусмысленность с передвиганием. Эта острота рассказывает об уловке «шадхена» (посредника при заключении брака у евреев) и относится к группе, которой мы еще посвятим много внимания.

«Шадхен заверил жениха, что отца девушки нет в живых. После обручения выясняется, что отец жив, но отбывает тюремное наказание. Жених упрекает шадхена в обмане. «А я что сказал? — говорит тот. — Разве это жизнь?»

Двусмысленность заключается в применении слова «жизнь». Передвигание состоит в том, что шадхен переходит от обычного смысла, противоположностью которому является слово «смерть», к тому смыслу, который имеет это слово в обороте речи «Это не жизнь». Он дает при этом запоздалое объяснение своему тогдашнему утверждению, хотя это неоднозначное толкование именно сюда не подходит. Такая техника очень сходна с техникой остроты о «золотом тельце» и о «ванне». Но здесь следует принять во внимание еще и другой момент, который из-за своей показательности мешает пониманию техники. Можно было бы сказать, что эта острота иллюстрирует характерную для посредников брака смесь лживой дерзости и находчивого остроумия. Но это только показная сторона, фасад остроты; ее смысл, то есть ее цель — другая. Но сейчас мы не будем останавливаться на попытке создания редукции этой остроты³⁹.

После этих сложных и трудно поддающихся анализу примеров нам все-таки доставило бы удовлетворение, если бы мы могли распознать в одном случае чистый и ясный пример «остроты, возникшей путем передвигания». 40

«Проситель приносит богатому барону прошение о выдаче вспомоществования для поездки в Остенде. Врачи рекомендовали ему для восстановления его здоровья морской курорт. «Хорошо, я вам дам немного денег для этой цели, — говорит богач. — Но должны ли вы поехать именно в Остенде, на самый дорогой из всех морских курортов?» — «Господин барон, — звучит обиженный ответ, — ничто не дорого для меня, когда речь идет

37 О процессах восприятия остроты см. дальнейшие главы.

38 Пожалуй, здесь нелишне будет сказать несколько слов для дальнейшего понимания. Передвигание всегда имеет место между обращением и ответом, который продолжает ход мыслей в ином направлении, чем то, с которого была начата речь. Оправдание разграничения передвигания и двусмысленности яснее всего вытекает из тех примеров, в которых имеется комбинация обоих фактов; то есть там, где текст речи допускает двусмысленность, которая не имела в виду говорящим, а ответ указывает путь к передвиганию. (См. примеры.)

39 О процессах восприятия остроты см. дальнейшие главы.

40 См. главу III.

о моем здоровье».

Такая точка зрения, конечно, правильная, но она неприличная для просителя. Его ответ был дан с точки зрения богатого человека, и ведет он себя так, как будто это свои собственные деньги он должен пожертвовать для своего же здоровья.

Обратимся опять к столь поучительному примеру с «семгой с майонезом». Мы видели в нем тоже только его показную сторону, по которой можно было бы судить о поразительной силе логической мысли. Но благодаря анализу мы узнали, что эта логичность имела целью скрыть недочет мышления, а именно — передвигание хода мыслей. Исходя из этого мы можем, хотя бы путем ассоциации по контрасту, вспомнить о других остротах, которые в противоположность только что упомянутой открыто выставляют напоказ нечто несуразное, бессмыслицу, нелепость. Мы любопыствуем узнать, в чем состоит техника таких острот.

Я привожу самый яркий и вместе с тем самый чистый пример всей этой группы. Это опять-таки еврейская острота.

«Исаак был назначен в артиллерию. Он, очевидно, смысленный малый, но непослушен и относится к службе без интереса. Один из его начальников, который был к нему расположен, отвел его как-то в сторону и сказал: «Исаак, ты нам не годишься. Я дам тебе совет: купи себе пушку и работай самостоятельно».

Совет, над которым можно от души посмеяться, является очевидной бессмыслицей. Пушек для продажи не существует, и один человек не может быть самостоятельной вооруженной силой, как это имеет место в торговле. Но для нас ни на одну минуту не подлежит сомнению, что этот совет является не пустой бессмыслицей, а бессмыслицей остроумной, отличной остротой. Но благодаря чему бессмыслица становится, таким образом, остротой?

Нам не придется долго размышлять над этим. Из рассуждений авторов, приведенных во введении, мы могли понять, что в такой остроумной бессмыслице скрывается определенный смысл и что именно этот скрытый смысл превращает бессмыслицу в остроту. Смысл в нашем примере найти легко. Офицер, который дал бессмысленный совет артиллеристу Исааку, только притворяется дурачком, чтобы показать Исааку, как глупо тот себя ведет. Он будто копирует Исаака: «Я хочу теперь дать тебе совет, который точно так же глуп, как и ты». Он примиряется с глупостью Исаака, выпячивает ее и делает основанием для предложения, которое должно отвечать желаниям Исаака. Ведь если бы Исаак владел собственной пушкой и промышлял орудием войны для собственной прибыли, как пригодились бы ему тогда его сообразительность и честолюбие!

Я прерываю анализ этого примера, чтобы показать тот же смысл в бессмыслице на одном более кратком и простом, но менее ярком случае остроты-бессмыслицы.

«Никогда не родиться — было бы самым лучшим уделом для смертных детей человечества». «Но, — прибавляют мудрецы из «*Fliegende Blätter*», — среди 10000 человек вряд ли найдется один, который воспользовался бы этим советом».

Современное добавление к древнему мудрому афоризму является очевидной бессмыслицей, которая становится еще более нелепой из-за предусмотрительного «вряд ли». Но эта фраза связана с первым предложением как неоспоримо верное ограничение и может, таким образом, открыть нам глаза на то, что эта приемлемая с благоговением мудрость немногим лучше бессмыслицы. Кто вовсе не родился, тот вообще не является дитятей человечества; для него не существует ни хорошего, ни самого лучшего. Бессмыслица в остроте служит здесь, таким образом, для открытия и изображения другой бессмыслицы, как в примере с артиллеристом Исааком.

Я могу присоединить сюда третий пример. По своему содержанию он вряд ли заслуживал бы подробного изложения, которого требует. Но он особенно отчетливо демонстрирует опять-таки применение бессмыслицы в остроте для отображения другой бессмыслицы.

«Один человек, уезжая, поручил дочь своему другу с просьбой, чтобы во время его отсутствия тот охранял ее добродетель. Отец вернулся спустя несколько месяцев и нашел

дочь беременной. Разумеется, он стал упрекать своего друга. Тот же никак не мог объяснить себе, как произошел этот несчастный случай. «Где она спала?» — спросил наконец отец. — «В комнате с моим сыном». — «Но как же ты мог позволить ей спать в одной комнате с твоим сыном, после того как я просил тебя охранять ее?» — «Но между ними была ширма. Там была кровать твоей дочери, тут — кровать моего сына, а между ними ширма». — «А если твой сын заходил за ширму?» — «Разве что так, — сказал второй задумчиво. — Тогда это было возможно».

От этой весьма малоудачной остроты по ее остальным качествам нам легче всего перейти к редукции. Она, очевидно, имеет такой смысл. Ты не имеешь никакого права упрекать меня. Как ты мог быть так глуп, чтобы оставить свою дочь в доме, где она постоянно должна была жить в обществе молодого человека? Разве возможно постороннему человеку при таких обстоятельствах нести ответственность за добродетель девушки? Кажущаяся глупость друга здесь является, таким образом, только отображением глупости отца. Редукцией мы устранили нелепость в остроте, а с ней упразднили и саму остроту. От самой «нелепости» мы не избавились. Она находит себе другое место с помощью предложения, редуцирующего ее смысл.

Теперь мы можем попытаться произвести редукцию и остроты о пушке. Офицер должен был бы сказать: «Исаак, я знаю, что ты смысленный делец. Но я говорю тебе, что ты допускаешь большую глупость, не понимая, что на военной службе нельзя вести себя так, как в деловой жизни, где каждый работает на свой риск, конкурируя с другими. На военной службе необходимо подчиняться и действовать сообща».

Таким образом, техника приведенных острот-бессмыслиц заключается действительно в том, что нам преподносится нелепость, бессмыслица, смысл которой заключается в наглядном изображении какой-то другой бессмыслицы и нелепости.

Имеет ли употребление бессмыслицы в технике остроумия всякий раз такое значение? Я привожу еще один пример, который отвечает на этот вопрос в положительном смысле.

«Когда Фокиона однажды после речи наградили аплодисментами, он, обратясь к своим друзьям, спросил: «Разве я сказал что-нибудь нелепое?»

Этот вопрос звучит, как бессмыслица. Но мы вскоре понимаем его смысл. «Разве я сказал что-нибудь такое, что могло понравиться этому глупому народу? Я, собственно, должен был бы стыдиться этого одобрения: если мое высказывание понравилось глупцам, значит оно само было не очень-то разумно».

Но другие примеры могут указать нам на то, что бессмыслица очень часто употребляется в технике остроумия, не служа цели изображения другой бессмыслицы.

«Одного известного университетского преподавателя, который обычно обильно уснащал остротами свой малонравившийся слушателям специальный предмет, в день рождения его младшего сына поздравили с тем, что ему было дано в удел счастье иметь ребенка уже в таком преклонном возрасте. «Да, — возразил он человеку, желавшему ему счастья. — Поразительно, что могут произвести человеческие руки».

Этот ответ кажется особенно бессмысленным и неуместным. Детей называют ведь благословением бога в противоположность творениям человеческих рук. Но сейчас же нам приходит в голову, что этот ответ имеет смысл, причем смысл скабресный. Здесь нет и речи о том, что счастливый отец хочет притвориться глупым, чтобы назвать глупым что-то или кого-то. Кажущийся бессмысленным ответ действует на нас ошеломляюще, смущающе, как мы сказали бы вместе с авторами, писавшими об остроумии. Мы слышали, что авторы усматривали все действие таких острот в смене «смущения и внезапного уяснения». Мы попытаемся позже создать свое суждение об этом. Пока же удовольствуемся лишь тем, что отметим: техника этой остроты заключается в преподнесении нам такого смущающего, бессмысленного ответа.

, Совсем особое место среди этих острот-бессмыслиц занимает острота Лихтенберга. Он удивился, что у кошек вырезаны две дары как раз в том месте их шкурки, где у них должны быть глаза. Удивляться чему-то само собой разумеющемуся, чему-то, что может

быть объяснено только идентичными же словами, является, конечно, нелепостью. Это напоминает об одном всерьез принимаемом восклицании у Мишле, которое, насколько я помню, звучит приблизительно так: «Как хорошо все устроено в природе, что ребенок, как только он появляется на свет, имеет мать, готовую принять его на свое попечение!» Фраза Мишле — действительно нелепость, фраза же Лихтенберга — острота, которая пользуется нелепостью для определенной цели, за которой что-то скрывается. Что именно? Этого мы, конечно, не можем указать в данный момент.

Из двух групп примеров мы уже узнали, что работа остроумия пользуется двумя отклонениями от нормального мышления — сгущением и бессмыслицей — как техническими приемами для создания остроумного выражения. Мы, конечно, вправе ожидать, что и другие ошибки мышления могут найти такое же применение. Действительно, можно указать несколько примеров такого рода.

«Один гражданин пришел в кондитерскую и приказал подать ему торт, но затем отдал его обратно и потребовал вместо него стаканчик ликера. Он выпил его и собрался уйти не заплатив, но владелец лавки задержал его. «Что вам угодно от меня?» — «Вы должны заплатить за ликер». — «Ведь я отдал вам за него торт». — «Но ведь вы за него тоже не заплатили». — «Но ведь я его и не ел».

И этот рассказ имеет видимость логичности, которая, как мы уже знаем, служит удобным фасадом для ошибки мышления. Ошибка заключается, очевидно, в том, что хитрый покупатель создает между возвращением торта и получением ликера соотношение, которого на самом деле не существовало. Суть вещей распадается, наоборот, на два процесса, которые для продавца друг от друга независимы и только по собственному предложению покупателя стоят в соотношении замены одного другим. Он сначала взял и возвратил торт, за который он, следовательно, ничего не должен заплатить, затем он берет ликер и за него он должен заплатить. Можно сказать, что покупатель двусмысленно употребляет выражение «за него», правильнее говоря, он создает с помощью двусмысленности связь, не имеющую фактически места⁴¹.

Теперь нам представляется удобный случай сделать немаловажное признание. Мы занимаемся здесь исследованием техники остроумия на примерах и должны, следовательно, быть уверены, что выбранные нами примеры действительно являются истинными островами. Но дело обстоит таким образом, что в целом ряде случаев мы колеблемся, следует ли называть соответствующий пример остроумием или нет. И в нашем распоряжении не будет такого критерия до тех пор, пока само исследование не даст нам его. Расхожее мнение ненадежно и само нуждается в проверке своей правильности. При решении выдвинутого нами вопроса мы не можем опереться ни на что иное, как только на чутье, которое мы понимаем в том смысле, что судим о чем-то согласно уже существующим определенным критериям, еще недоступным нашему пониманию. Ссылку на это чутье мы не будем выдавать за достаточное обоснование. Мы сомневаемся, должны ли считать последний пример остроумием, софистическим остроумием или просто софизмом. Кроме того, мы не знаем еще, в чем заключается характер остроумия.

Наоборот, нижеследующий пример, который выявляет, так сказать, более грубую ошибку мышления, является несомненной остроумием. Это опять-таки история с посредником брака.

«Шадхен защищает девушку, которую он предлагает в качестве невесты, от недостатков, отмечаемых молодым человеком. «Теща мне не нравится, — говорит претендент в женихи. — Она ехидный, глупый человек». — «Ведь вы женитесь не на теще, а на дочери». — «Да, но она уже немолода и лицом нехороша». — «Это ничего, зато тем более

⁴¹ Подобная техника бессмысленности получается тогда, когда острота может сохранить связь, которая оказывается упраздненной особыми условиями ее содержания. Сюда относится нож Лихтенберга без клинка, где отсутствует рукоятка. Такова же острота, рассказанная Фальке. «То ли это место, где Дюк из Веллингтона произнес эти слова?» — «Да, это то место, но таких слов он никогда не произносил».

она будет вам верна». — «Денег там тоже не много». — «А разве вы женитесь на деньгах? Вы ведь хотите иметь жену». — «Но она к тому же еще и горбата!» — «А что же вы хотели? Чтoб она не имела ни одного недостатка?»

Таким образом, речь идет, действительно, о немолодой, некрасивой девушке с небольшим приданым, причем у нее отталкивающая мать, и, кроме того, она награждена безобразным уродством. Это, конечно, условия, отнюдь не заманчивые для заключения брака. Но посредник умеет при указании на каждый отдельный из этих недостатков посмотреть на него с той точки зрения, которая позволяет с ним примириться. Лишь горб он оценивает как недостаток, который нужно простить, потому что он единственный. И здесь налицо видимость логичности, которая характерна для софизма и которая должна скрыть ошибку мышления. Девушка имеет очевидные недостатки, причем несколько таких, которые можно простить, и лишь один недостаток простить нельзя. Она не подходит для брака. Но посредник ведет себя таким образом, как будто каждый отдельно взятый недостаток устраняется его возражением, в то время как в действительности каждый из них в некоторой степени обесценивает выгоды брака, а все вместе суммируются в общее неблагоприятное впечатление. Посредник ловко парирует указание на каждый отрицательный фактор в отдельности и мешает их суммировать.

Та же ошибочность мышления является ядром другого софизма, по поводу которого можно много смеяться, но можно и сомневаться, вправе ли мы называть его остротой.

«А. взял у В. медный котел. После того как котел был возвращен, В. предъявил А. иск, так как в котле он обнаружил большую дыру, из-за которой он стал негоден для употребления. А. защищается: «Во-первых, я вообще не брал котла у В.; во-вторых, в котле уже была дыра, когда я взял его у В.; в-третьих, я вернул котел в целости». Каждое возражение в отдельности само по себе хорошо, но взятые вместе они исключают друг друга. А. обсуждает изолированно то, что следует рассматривать в связи друг с другом, то есть так же, как отводит посредник недостатки невесты. Можно также сказать, что А. ставит «и» в том месте, где возможно только «либо-либо».

Другой софизм мы находим в следующей истории с посредником брака.

«Жених замечает, что у невесты одна нога короче другой и она хромает. Шадхен вступает с ним в спор. «Вы неправы. Предположите, что вы женитесь на женщине со здоровыми, одинаковыми конечностями. Какой вам расчет? Вы ни на одну минуту не будете спокойны, опасаясь что она может упасть, сломать себе ногу и остаться хромой на всю жизнь. А потом боль, волнения, расходы на врача! Если же вы женитесь на этой девушке, то с вами этого не может случиться, так как здесь вы имеете уже готовый результат».

Видимость логики здесь очень невелика, и никто не захочет отдать предпочтение уже случившемуся несчастью перед несчастьем, которое еще только может быть произойдет. Ошибку, содержащуюся в ходе мысли, легче выявить на другом примере — на истории, в изложении которой я не могу избежать жаргона.

«В храме в Кракове сидит великий раввин N. и молится со своими учениками. Внезапно он издает крик и на вопрос своих озабоченных учеников отвечает: «Только что умер великий раввин L. в Лемберге». Община объявляет траур по умершему. В течение ближайших нескольких дней опрашиваются прибывающие из Лемберга, как умер раввин, чем он был болен, но они ничего не знают об этом, так как оставили его в наилучшем самочувствии. Наконец, выясняется вполне определенно, что раввин L. не умер в тот момент, когда раввин N. телепатически почувствовал его смерть, и что он жив до сих пор. Иноверец воспользовался удобным случаем, чтобы подтрунить над учеником краковского раввина по поводу этого события. «Большой позор для вашего раввина, что он увидел тогда раввина L. умирающим в Лемберге. Этот человек жив и поныне». «Это ничего, — возражает ученик. — Взгляд из Кракова до Лемберга был все же великолепен».

Здесь открыто признается общая двум последним примерам ошибка мышления. Фантастическое представление безо всякого зазрения оценивается выше реальности. Взгляд через пространство, отделяющее Краков от Лемберга, был бы импозантным телепатическим

актом, если бы он передал нечто действительно происшедшее. Но это не важно для ученика. Ведь существовала все-таки возможность, что раввин Л. умер в Лемберге в тот момент, когда краковский раввин провозгласил о его смерти. Ученик же передвинул акцент с условия, при котором поступок учителя был бы достоин удивления, на безусловное удивление этим поступком. «In magnis rebus voluisse sat est» свидетельствует о подобной точке зрения. Как в этом примере реальность не принимается во внимание и ей предпочитается возможность, так и в предыдущем примере посредник брака предлагает жениху принять во внимание, что женщина из-за несчастного случая всегда может стать хромой, и оценивает эту возможность как нечто более значительное, в сравнении с чем то обстоятельство, что она уже хромая, отступает на задний план.

К этой группе софистических ошибок мышления примыкает другая очень интересная группа, в которой ошибку мышления можно назвать автоматической. Быть может, это только каприз случая, что все примеры этой новой группы, которые я приведу, относятся опять-таки к историям с шадхенами.

«Шадхен привел с собой для переговоров о невесте помощника, который должен был подтверждать все его сведения. «Она стройна, как ель», — говорит шадхен. «Как ель», — повторяет его эхо. «А глаза у нее такие, что их нужно посмотреть». «Ах, какие глаза у нее», — подтверждает эхо. «А образована она, как никакая другая девушка». — «И как образована!» — «Правда, — признается посредник, — она имеет небольшой горб». — «Но зато какой горб», — подхватывает опять эхо».

Другие истории вполне аналогичны, но более остроумны.

«Жених при знакомстве с невестой неприятно поражен и отводит посредника в сторону, чтобы сообщить ему о недостатках, которые он нашел в невесте. «Зачем вы привели меня сюда? — тихо спрашивает он с упреком. — Она отвратительна и стара, она косит; у нее плохие зубы и слезящиеся глаза...» — «Вы можете говорить громко, — вставляет посредник, — она и глуха еще».

«Жених делает первый визит в дом невесты вместе с посредником. В то время, когда они ожидают в гостиной появления семьи, посредник обращает его внимание на стеклянный шкаф, в котором выставлена напоказ серебряная утварь. «Взгляните сюда. По этим вещам вы можете судить, как богаты эти люди». — «А разве невозможно, — спрашивает недоверчивый молодой человек, — что эти вещи взяты взаймы только для этого случая и с целью произвести впечатление богатства?» — «Как такое пришло вам в голову? — возражает посредник. — Разве можно доверить что-нибудь этим людям!»

Во всех трех случаях происходит одно и то же. Человек несколько раз подряд одинаково реагирует на вопросы. Затем продолжает реагировать таким же образом и тогда, когда его ответы начинают противоречить тем целям, которые он преследует. Он не понимает, что необходимо приспособляться к требованиям ситуации и поддается автоматизму привычки. Так, помощник посредника в первом рассказе понимает, что его взяли с собой для поддержки своего господина, когда тот нахваливает предлагаемую невесту. И он усердно выполнял возложенную на него задачу, усиливая своим повторением указываемые положительные черты невесты. Но затем он по инерции подчеркивает и ее робко признаваемый горб, значение которого он должен был бы преуменьшить. Во втором рассказе посредник так углублен в перечисление женихом недостатков и пороков невесты, что и сам дополняет их список дефектом, которого жених не заметил, хотя это, конечно, не входит в круг его обязанностей и намерений. В третьем рассказе посредник настолько одержим рвением убедить молодого человека в богатстве этой семьи, что он в одном только пункте доказательства этому приводит такой довод, который уничтожает все его старания. Повсюду автоматизм берет верх над целесообразным и своевременным изменением мышления и выражений.

Это легко понять, но это же должно сбить нас с толку, если эти три истории можно назвать комическими по такому же праву, по какому мы их привели в качестве остроумных. Открытие психического автоматизма принадлежит к технике комического, как и всякое

разоблачение, когда человек сам себя выдает. Неожиданно мы очутились перед проблемой отношения остроумия к комизму, хотя мы думали обойти ее (см. введение). Являются ли эти истории только комическими, но в то же время не остроумными? Работает ли здесь комизм теми же средствами, что и остроумие? И опять-таки: в чем заключается особый характер остроумия?

Мы должны придерживаться того взгляда, что техника последней исследованной нами группы остроумия заключается не в чем ином, как в преподнесении «ошибок мышления». Но мы вынуждены признать, что их исследование привело нас скорее к затемнению вопроса, чем к выяснению его. И все-таки будем продолжать надеяться, что полное изучение технических приемов остроумия приведет нас к некоторым данным, которые послужат исходным пунктом для дальнейших рассуждений.

Ближайшие примеры остроумия, на которых мы будем базировать наше дальнейшее исследование, не представят больших трудностей. Их техника нам уже знакома.

Вот, например, остроумия Лихтенберга:

«Январь — это месяц, когда люди приносят своим друзьям добрые пожелания; остальные месяцы — это те, в течение которых эти пожелания не исполняются».

Так как эти остроумия следует назвать скорее тонкими, чем удачными и они пользуются малоэнергичными приемами, то мы хотим усилить получаемое от них впечатление, умножая их число.

«Человеческая жизнь распадается на две половины: в течение первой половины люди стремятся вперед ко второй, а в течение второй стремятся обратно к первой».

«Жизненное испытание состоит в том, что человек испытывает то, чего не хотел испытывать». (Оба примера принадлежат К. Фишеру.)

Эти примеры напоминают нам рассмотренную раньше группу, особенностью которой является «многократное применение одного и того же материала». Особенно последний пример дает нам повод поставить вопрос: почему мы не включили его в эту прежнюю группу, вместо того чтобы приводить его в связи с новой группой? Испытание снова описывается посредством самого себя, как в другом месте ревность. И это указание я не буду особенно оспаривать. Но я полагаю, что в двух других примерах, имеющих аналогичный характер, другой новый момент является более поразительным и многозначительным, чем многократное употребление одного и того же слова, которому здесь недостает даже намек на двусмысленность. А именно, я хочу подчеркнуть, что здесь созданы новые и неожиданные единства, новые отношения представлений друг к другу и определение одного понятия с помощью другого или их отношением к общему третьему понятию. Я назвал бы этот процесс «унификацией». Он, очевидно, аналогичен сгущению, поскольку формулируется теми же словами. Например, две половины человеческой жизни можно описать при помощи открытого между ними взаимоотношения: в течение первой половины стремятся вперед ко второй, а в течение второй стремятся обратно к первой. Это, точнее говоря, два очень сходных друг другу отношения, взятых для изображения. Сходству отношений соответствует сходство слов, которое может напомнить нам о многократном употреблении одного и того же материала.

Я хочу воспользоваться ранее упомянутым своеобразным негативным отношением остроумия к загадке (то, что скрыто в остроумии, дано в загадке, и наоборот), чтобы описать «унификацию» лучше, чем это позволяют сделать вышеприведенные примеры. Многие из загадок, сочинением которых занимался философ Г.Т. Фехнер, после того как он потерял зрение, отличаются в высокой степени унификацией, придающей им особую прелесть. Такова, например, загадка № 203 (Ratselbuchlein von D-r Mises. Vierte vermehrte Auflage. Год издания не указан).

«Die beiden ersten finden ihre Ruhestätte

Im Paar der andern, und das Ganze macht ihr Bette».

О двух парах слогов, которые нужно отгадать, не сказано ничего, кроме их отношения друг к другу и кроме отношения всего в целом к первой паре слогов (разгадка: Totengraber).

Или следующие два примера, в которых описание происходит путем указания отношения к одному и тому же или слегка модифицированному третьему:

№ 170. Die erste Silb' hat Zahn' und Haare,
Die zweite Zahne in den Haaren.
Wer auf den Zahnen nicht hat Haare
Vom Ganzen kaufe keine Ware. (Rosskamm.)

№ 168. Die erste Silbe frisst,
Die andere Silbe isst,
Die dritte wird gefressen
Das ganze wird gegessen. (Sauerkraut.)

Наибольшая унификация содержится в загадке Шлейермахера, которую нельзя не назвать остроумной:

Von der letzten umschlungen
Schwebt das vollendete Ganze
Zu den zwei ersten empor. (Galgensack.)

В большинстве загадок, в которых искомое слово расчленяется на слоги, унификация отсутствует. То есть признак, по которому нужно отгадать один из слогов, совершенно независим от признака, данного для второго, третьего слога, и от опорных точек, по которым можно отгадать все в целом.

Прекрасным примером унификационной остроты, не нуждающейся в пояснении, является следующая:

Француз Ж.Б. Руссо, слагавший ода, написал «Оду потомству» (à la posterité); Вольтер нашел, что стихотворение это по своей ценности отнюдь не имеет достаточных оснований дойти до потомства и сказал остроумно: «Это стихотворение не дойдет по своему адресу». (По К. Фишеру.)

Последний пример может обратить наше внимание на то, что по существу унификация является тем моментом, который лежит в основе так называемых находчивых острот. Находчивость состоит ведь в переходе от обороны к агрессивности, в «повороте острого от себя в сторону противника», в «отплате тою же монетой»; следовательно, в создании неожиданного единства между атакой и контратакой.

«Пекарь говорит трактирщику, у которого нарывает палец: «Он, вероятно, попал в твое пиво?» — «Этого не было, но мне под ноготь попала одна из твоих саек». (По Уберхорсту. Das Komische, II. 1900.)

«Светлейший князь объезжает свои владения и замечает в толпе человека, очень похожего на его собственную высокую персону. Он подозвал его и спросил, служила ли его мать когда-либо в доме князя. «Нет, ваша светлость, — гласил ответ, — мать не служила. Но там служил мой отец».

«Герцог Карл Вюртембергский во время одной из своих верховых прогулок случайно натолкнулся на красильщика, занятого своим делом. «Можешь ли ты покрасить мою белую лошадь в синий цвет», — спросил его герцог и получил ответ: «Конечно, ваша светлость, если она выдержит температуру кипения!»

В этих отличных «поездках на обратных», в которых на бессмысленный вопрос отвечают столь же невозможным условием, принимает участие и такой технический момент, который отсутствовал бы, если бы красильщик ответил: «Нет, ваша светлость; я боюсь, что лошадь не выдержит температуры кипения».

В распоряжении унификации имеется еще и другой, особенно интересный прием — присоединение при помощи союза и, которое означает связь. И мы понимаем его не иначе. Например, Гейне рассказывает в «Путешествии на Гарц» о городе Геттингене: «Вообще геттингенских жителей можно разделить на студентов, профессоров, филистеров и скот». Мы понимаем это сопоставление именно в прямом смысле, который еще резче подчеркивается добавлением Гейне: «Все они не многим различаются между собой». Или вот Гейне говорит о школе, где он должен был переносить «латынь, побои и географию».

Это присоединение, которое более чем понятно, так как побои поставлены посредине между учебными предметами, говорит нам, что отношение ученика к побоям следует распространить и на занятия по латыни и географии.

У Липпса мы находим среди примеров «остроумного перечисления» («Koordination») стих, очень близкий по духу словам Гейне «студенты, профессора, филистеры и скот»:

«С трудом и вилкой мать вытащила его из соуса»; как будто труд был инструментом, подобно вилке, добавляет Липпс, поясняя⁴²⁴³. Но создается впечатление, как будто этот стих совсем неостроумен, а только очень комичен. В то время, как гейневское присоединение несомненно остроумно. Быть может, мы впоследствии вспомним об этих примерах, когда нам больше не нужно будет избегать проблемы соотношения комизма и остроумия. -

На примере с герцогом и красильщиком мы заметили, что их диалог остался бы остротой, возникшей путем унификации, и в том случае, если бы ответ красильщика гласил: «Нет, я боюсь, что лошадь не выдержит температуры кипения». Но ответ гласил: «Да, ваша светлость, если она выдержит температуру кипения». В замене уместного слова «нет» неуместным по здравому смыслу «да» и заключается новый технический прием остроумия, употребление которого мы проследим на других примерах. Одна из приведенных К. Фишером острот более проста. Фридрих Великий услышал об одном силезском проповеднике, о котором говорят, что он общается с духами. Фридрих приказал этому человеку прийти к нему и встретил его вопросом: «Умеете ли вы заклинать духов?» Ответ был таким: «Так точно, ваше величество, но они не приходят». Здесь вполне очевидно, что прием остроумия заключается в замене единственно возможного «нет» противоположным ему «да». Чтобы произвести эту замену, к слову «да» должно быть присоединено «но»; то есть «да» и «но» по смыслу тождественны «нет».

Это изображение при помощи противоположности, как мы его называем, служит работе остроумия в различных продукциях. В следующих двух примерах оно выступает в чистом виде.

Гейне: «Эта дама во многих отношениях подобна Венере Милосской: она так же чрезвычайно стара, тоже не имеет зубов и имеет несколько белых пятен на желтоватой поверхности своего тела».

Это изображение отвратительной внешности при помощи аналогии ее с прекрасным. Такие аналогии можно проводить, конечно, только между двусмысленно выраженными качествами или второстепенными чертами. Последнее относится ко второму примеру:

«Лихтенбёрг: Великий дух.

Он объединил в себе качества великих мужей. Он держал голову криво, как Александр, всегда поправлял волосы, как Цезарь, мог пить кофе, как Лейбниц, и когда он однажды прочно сидел в кресле, то забыл о еде и питье, как Ньютон, и его должны были будить, как этого последнего; свой парик он носил, как д-р Джонсон, и пуговица от брюк была всегда у него расстегнута, как у Сервантеса».

Особенно хороший пример изображения с помощью противоположности, в котором абсолютно не имеет места употребление двусмысленных слов, привезен Фальком из его поездки в Ирландию.

«Место действия — кабинет восковых фигур мадам Тюссо. И здесь имеется проводник, сопровождающий общество, в котором и стар и млад, от фигуры к фигуре со своими объяснениями. «Это Дюк Веллингтон и его лошадь». После этого одна молодая девушка задает вопрос: «А какая из них Дюк Веллингтон и какая — его лошадь?» — «Как вам будет угодно, дитя мое, — гласит ответ. — Вы заплатили деньги, и выбор принадлежит вам».

⁴² «У одного богатого и старого человека были молодая жена и размягчение мозга...» К. Макушинский. «Старый муж». Чтец-декламатор Т. В. Юмористический. Кн-во Самоненко. Киев. — Примеч. перев.

⁴³ Остроумие

Редукция этой ирландской остроты должна была бы звучать так: «Как не стыдно предлагать обозрению публики эти восковые фигуры! Ведь в них нельзя отличить лошадь от всадника!» (Шутливое преувеличение.) «И за это платят хорошие деньги!» Это негодующее выражение драматизируется, подкрепляется небольшими подробностями, вместо публики выступает одна дама, фигурой всадника выбирается индивидуально столь популярная в Ирландия личность герцога Веллингтона. Бесстыдство же владельца или проводника, который вытягивает у людей деньги из кармана и не дает взамен ничего достойного, изображается путем противоположности, с помощью речи, в которой он представляется как добросовестный делец, уважающий права публики, приобретенные ею после уплаты денег. Теперь можно также отметить, что техника этой остроты совсем не проста. Найдя путь к тому, как показать обманщика добросовестным, эта острота является примером изображения при помощи противоположности. Но повод, по которому острота прибегает к этому изображению, требует от нее совсем другого: она отвечает деловой солидностью там, где от нее ожидают объяснения сходства фигур, и является, таким образом, примером передвижения. Техника этой остроты заключается в комбинации обоих приемов.

От этого примера легко перейти к небольшой группе, которую можно было бы назвать остротами, возникающими путем преувеличения. В них «да», которое было бы уместно в редукции, заменяется отрицанием «нет». Но это «нет» равносильно по своему содержанию даже усиленному «да». И наоборот: «нет» заменяется таким же «да». Отрицание стоит на месте утверждения с преувеличением; такова, например, эпиграмма Лессинга⁴⁴:

«Прекрасная Галатея! Говорят, что она красит свои волосы в черный цвет?» — «О, нет: ее волосы были уже черны, когда она их купила».

Или мнимая ехидная защита книжной мудрости Лихтенбергом:

«Есть многое на небе и земле,

Что и во сне, Горацио, не снилось

Твоей учености», — сказал презрительно Гамлет.

Лихтенберг знает, что это определение далеко не меткое, так как оно не реализует всего того, что можно возразить против ученой мудрости. Поэтому он прибавляет еще недостающее суждение. «Но и в учености есть многое такое, чего нет ни на небе, ни на земле». Его изложение подчеркивает, чем вознаграждается книжная мудрость за порицаемый Гамлетом недостаток, но в этом вознаграждении заключается второй, еще больший упрек.

Еще прозрачнее, хотя и более грубы, две еврейские остроты, так как они свободны от всякой примеси передвижения.

«Два еврея разговаривают о купании. «Я ежегодно купаюсь один раз, — говорит один из них, — даже если это не нужно».

Ясно, что таким хвастливым уверением в своей чистоплотности он уличает себя в неопрятности.

«Один еврей замечает остатки пищи на бороде у другого. «Я могу сказать тебе, что ты вчера ел». — «А ну-ка, скажи». — «Чечевичную похлебку». — «Неправда, я ее ел позавчера».

Великолепной остротой, которая создана путем преувеличения и легко может быть отнесена к изображениям при помощи противоположности, является следующая:

«Король, снизойдя, посещает хирургическую клинику и присутствует на праводимой профессором ампутации ноги. Отдельные стадии этой операции король сопровождает громкими выражениями своего королевского благоволения: «Браво, bravo, мой милый профессор». По окончании операции профессор подходит к королю и спрашивает с глубоким поклоном: «Прикажете, ваше величество, ампутировать и вторую ногу?»

То, о чем думал про себя профессор во время королевского одобрения, можно выразить примерно следующими словами: «Все это производит такое впечатление, будто я ампутирую

⁴⁴ По изложению «Griechischen Anthologie».

ногу этому бедняге по королевскому указу и только ради королевского благоволения. Одаако в действительности у меня другие основания для этой операции». Но когда он подаодит к королю, то высказывает противоположную мысль: «Я не имею никаких других оснований для производства этой операции, кроме указа вашего величества. Высказанное мне одобрение так осчастливило меня, что я ожидаю только приказания вашего величества, чтобы ампутировать и здоровую ногу!» Такой анализ позволяет понять то, о чем он думает и о чем может говорить. Эта противоположность есть невероятное преувеличение.

Изображение при помощи противоположности является, как мы видим на этих примерах, часто употребляемым и очень энергичным приемом техники остроумия. Но мы должны не проглядеть и другого момента, заключающегося в том, что эта техника свойственна отнюдь не одному только остроумию. Когда Марк Антоний, произнеся на форуме длинную речь о погибшем Цезаре и завоевав у слушателей расположение, опять бросает, наконец, фразу: «Брут — достойный уважения человек», то он знает, что народ крикнет ему в ответ только истинный смысл его слов:

«Они изменники — эти достойные уважения люди».

[Аналогичной техникой пользуется Шуйский в «Борисе Годунове» Пушкина:

... Какая честь для нас, для всей Руси!

Вчерашний раб, татарин, зять Малюты,

Зять палача и сам в душе палач,

Возьмет венец и бармы Мономаха... — Перев.]

Или когда «Simplizissimus» переписывает собрание неслыханных сальностей и цинизмов, как выражения из «Gerniitsmenschen» («Нравственные люди»), то это тоже изображение при помощи противоположности. Но это называют иронией, а не остротой. Иронии не свойственна никакая другая техника, кроме техники изображения при помощи противоположности⁴⁵. Кроме того, говорят и пишут об иронической остроте. Таким образом, нельзя больше сомневаться в том, что одна техника недостаточна для характеристики остроты. К технике должно присоединиться еще нечто другое, чего мы до сих пор не открыли. Но, с другой стороны, все-таки неоспоримо, что с упразднением техники исчезает и острота. А priori может показаться трудным объединить друг с другом оба этих спорных пункта, которые добыты нами для объяснения остроумия.

Если изображение при помощи противоположности относится к техническим приемам остроумия, то мы, конечно, вправе ожидать, что остроумие может использовать и противоположный прием, то есть изображение при помощи сходного и родственного. Продолжение нашего исследования действительно покажет нам, что это является техникой новой, совершенно особой обширной группы острот по смыслу. Мы определим своеобразность этой техники гораздо точнее, если вместо изображения при помощи «родственного» скажем: изображение при помощи принадлежащих друг другу или находящегося в связи друг с другом понятий. Мы сделаем почин последней характеристикой и поясним ее сейчас же примером.

В одном американском анекдоте говорится, что двум не очень щепетильным дельцам удалось рядом смелых предприятий создать себе довольно большое состояние, после чего их стремление было направлено на то, чтобы войти в высшее общество. Среди прочего им казалось вполне целесообразным заказать свои портреты самому дорогому и знаменитому художнику, каждое произведение которого считалось событием. На большом вечере эти драгоценные портреты были показаны впервые. Хозяева подвели весьма влиятельного критика и знатока искусства к стене, на которой висели оба портрета, рассчитывая услышать от него мнение, полное одобрения и удивления. Критик долго смотрел на портреты, потом покачал головой, как будто ему чего-то не хватало, и спросил только, указывая на свободное место между двумя портретами: «А где же Спаситель?» Или: «Я не вижу здесь изображения

⁴⁵ Сравните с Крыловым: «Отколе, умная, бредешь ты, голова?» — Примеч. перев.

Спасителя».

Смысл этой фразы ясен. Здесь опять идет речь об изображении чего-то, что не должно быть выражено прямо. Каким образом осуществляется это «непрямое изображение»? При помощи целого ряда легко возникающих ассоциаций и заключений мы проследим путь изображения этой остроты в обратном направлении.

Вопрос «Где Спаситель или изображение Спасителя?» позволяет нам догадаться, что вид обоих портретов напоминает говорящему подобное же, известное и ему и нам изображение Спасителя между двумя другими портретами. Такой случай возможен только один: распятый Христос, висящий между двумя разбойниками. Недостающий элемент подчеркивается остротой. Сходство же заключается в оставленных в остроте без внимания портретах, находящихся справа и слева от Спасителя. Оно может состоять только в том, что и демонстрируемые в салоне портреты — суть портреты разбойников. Критик, таким образом, хотел, но не мог сказать примерно следующее: «Вы — пара грабителей». Подробнее: «Какое мне дело до ваших портретов? Я знаю только, что вы — пара грабителей». И он сказал это путем некоторых ассоциаций и умозаключений. Этот путь мы называем намеком.

Мы тотчас вспоминаем, что уже встречали намек при рассмотрении двусмысленности. Иногда из двух значений, выраженных одним и тем же словом, одно, как более частое и более употребительное, выступает на первый план и прежде всего приходит нам в голову. В то же время другое, более отдаленное, отступает на задний план. Такой случай мы и называем двусмысленностью с намеком. В целом ряде исследованных нами до сих пор примеров мы заметили, что техника их вовсе не проста, и рассматривали намек как усложняющий ее момент. (Например, сравните остроту о жене, составленную путем перестановки, где жена немного прилегла и при этом много заработала. Или остроту-бессмыслицу при поздравлении по поводу рождения младшего сына, где отец удивляется тому, что могут произвести человеческие руки.)

В американском анекдоте мы имеем намек, свободный от двусмысленности и в качестве характерной черты его находим замену одного представления другим, находящимся с ним в связи. Легко догадаться, что связь эта может реализоваться более чем одним способом. Чтобы не потеряться в этом множестве видов, мы будем обсуждать только резко выраженные вариации и иллюстрировать их лишь немногими примерами.

Реализуемая для замены связь может быть только созвучием, так что этот подвид аналогичен каламбуру при произнесении острот вслух. Но это не созвучие двух слов, а созвучие фраз, характерных оборотов речи и т. п.

Например, Лихтенбергу принадлежит изречение «Новый курорт хорошо лечит». Оно напоминает нам о поговорке «Новая метла хорошо метет». У них тождественны первое и третье слова и вся структура предложения. Это изречение возникло в голове остроумного мыслителя, вероятно, как подражание известной поговорке. Изречение Лихтенберга является, таким образом, намеком на поговорку. С ее помощью нам указывается на нечто, что не высказывается прямо; а именно: в работе курортов участвует еще и другой, временной момент, а не только теплые воды, целебные свойства которых постоянны.

Подобным же образом вскрывается технически и другая шутка или острота Лихтенберга: «Девочка, которой четыре моды». Это созвучно с определением возраста «четыре года», и было, может быть, первоначально опиской в этом определении. Но замена словом «мода» слова «годы» для определения возраста женщин является удачным приемом.

Связь может состоять в тождестве вплоть до единичной небольшой модификации. Эта техника параллельна опять-таки словесной технике. Оба вида остроумия вызывают почти одно и то же впечатление; однако их можно отличить друг от друга по процессам, происходящим при работе остроумия.

Вот пример такой словесной остроты или каламбура.

Великая, но известная не только объемом своего голоса певица Мария Свит⁴⁶ была обижена тем, что название театральной пьесы, инсценированной по известному роману Ж. Верна, послужило намеком на ее безобразную внешность⁴⁷: «Путешествие вокруг Свит за 80 дней».

Или слова «Что ни сажень — то королева», которые являются модификацией известного шекспировского выражения «Что ни дюйм — то король», служат намеком на эту цитату и сказаны про одну знатную даму, пережившую свое величие. В действительности, можно было бы немного возразить, если бы кто-нибудь захотел отнести эту остроту к сгущению с модификацией или к заместительному образованию (сравните *tete-a-bete*).

Об одном человеке, имеющем высокие устремления, но своеобразном в достижении своих целей и своенравном, кто-то из его друзей сказал: «Он набитый идеалист». «Он набитый дурак» — общеупотребительный оборот речи. На него и намекает эта модификация и на его смысл она сама претендует. И здесь технику тоже можно описать как сгущение с модификацией.

Почти невозможно отличить намек с модификацией от сгущения с заместительным образованием, когда модификация ограничивается изменением букв, как, например, в слове «дихтерит» (*Dichter* — поэт). Намек на страшную заразу «дифтерит» изображает бездарное поэтическое творчество тоже как нечто опасное в общественном отношении.

Отрицательные приставки дают широкую возможность создания очень удачных намеков с незначительными изменениями.

«Мой товарищ по неверию Спиноза», — говорит Гейне. «Мы, немилостью божьей, поденщики, крепостные, негры, отбывающие барщину...» — так начинается у Лихтенберга манифест этих несчастных, которые имеют, во всяком случае, больше права на такое титулование, чем короли и князья на немодифицированное.

Формой намека является, наконец, и пропуск, который можно сравнить со сгущением без заместительного образования. Собственно, при каждом намеке пропускается нечто, а именно — приводящие к намеку пути, по которым идет течение мыслей.

Речь идет только о том, что больше бросается в глаза: пробел или заместительное образование, отчасти выполняющее пробел в тексте намека. Таким образом, мы вернулись бы опять от целого ряда примеров с грубыми пропусками к собственно намеку.

Пропуск без замещения дан в следующем примере.

«В Вене живет остроумный и воинствующий писатель, который неоднократно бывал бит его противниками за резкость своих полемических статей. Когда однажды в обществе обсуждалось новое выступление одного из его обычных противников, кто-то отозвался: «Если бы Х. слышал это, он получил бы опять пощечину».

К технике этой остроты относится, прежде всего, смущение из-за непонимания мнимой бессмыслицы, потому что получение пощечины за то, что кто-то о чем-то слышал, никак не может быть понято нами. Но бессмыслица исчезает, когда вставляют пробел: тогда он написал бы такую едкую статью против лица, о котором идет речь, что... (и далее по тексту). Намек, получившийся из-за пропуска части фразы, и бессмыслица стали, таким образом, техническими приемами этой остроты.

Гейне: «Он хвалил себя так много, что курительные свечи поднялись в цене». Этот пробел легко заполнить. Пропущенное заменено следствием, которое служит намеком на пропуск слов. «Самохвальство издает зловоние» (нем. поговорка).

Еще одна острота о евреях, встретившихся в бане.

«Вот и еще год прошел!» — вздыхает один из них.

⁴⁶ Настоящая фамилия певицы Wilt. Фамилия эта является модификацией слова Welt. Соответственно этому модификацией русского Свет явилась фамилия Свит. — Примеч. перев.

⁴⁷ Она была очень толста. — Примеч. перев.

Эти примеры не оставляют никакого сомнения в том, что пропуск относится к намеку. Бросающийся в глаза пробел имеется в нижеследующем примере, являющемся истинной и настоящей остротой, возникающей путем намека.

«После одного празднества художников в Вене был издан юмористический сборник, в котором, между всего прочего, было помещено следующее замечательное изречение: «Жена — как зонтик. Но в случае необходимости все же прибегают к услугам более комфортабельным».

Зонтик мало защищает от дождя. «Все же» может только означать, что когда идет сильный дождь, то более комфортабельным, чем зонтик, является омнибус (общественный экипаж). Но поскольку мы здесь имеем дело с формой сравнения, то отложим пока более подробное исследование этой остроты.

Истинный клубок колких намеков содержат «Луккские воды» Гейне. Они превращают эту форму остроумия в искусное орудие для полемических целей (против графа Платена). Прежде чем читатель может догадаться об этом орудии, создается прелюдия к определенной теме, непригодной для прямого изображения. Прелюдия состоит из намеков, созданных из самого разнообразного материала. Например, из исковерканных слов Гирш-Гиацинта: «Вы слишком корпулентны, а я слишком тощ. У вас богатое воображение, а у меня тем более деловитости. Я — практик, а вы — диарретик (вместо «теоретик»; Diarrhea — понос). Одним словом, вы совершенно мой антиподекс (вместо «антипод»; Podex — задница)». «Венера Уриния» (Urin — моча) — толстая Гудель из Дреквалля (Dreck — кал) в Гамбурге» и т. п. Затем эти события, о которых рассказывает поэт, принимают другое направление, которое якобы прежде всего свидетельствует только о невежливых вольностях поэта, но вскоре открывает свое символическое отношение к полемическим целям и является, таким образом, тоже намеком. Наконец, нападки на Платена прорываются, и намеки на ставшую уже известной тему о гомосексуальности графа клокочут и струятся из каждой фразы, которую Гейне направляет против таланта и характера своего противника. Например:

«Если музы и неблагоприятны к нему, то дух языка все-таки находится в его полном распоряжении. Или, вернее, он умеет его насиловать, ибо свободной любви этого духа у него нет. Он должен постоянно бегать за этим юношей и умеет схватывать только внешние формы, которые, несмотря на свою прекрасную закругленность, лишены всякого благородства».

«С ним бывает в этих случаях то же, что со страусом, который считает себя достаточно спрятавшимся, когда зарывает в песок голову так, что видным остался только хвост. Наша сиятельная птица поступила бы лучше, если бы хвост упрятала в песок, а нам показала голову».

Намек является самым употребительным и охотнее всего применяемым приемом остроумия. Он лежит в основе большинства недолговечных созданий остроумия, которые мы обычно вплетаем в нашу речь и которые теряют свой смысл при отделении от взрастившей их почвы и самостоятельном существовании. Но именно намек вновь напоминает нам о тех соотношениях, которые чуть было не ввели нас в заблуждение при оценке техники остроумия. Намек как таковой не обязательно остроумен. Есть корректно созданные намеки, которые вовсе не претендуют на остроумие. Остроумен только остроумный намек, так что признак остроумия, который мы проследили вплоть до техники остроумия, опять ускользает от нас.

Я назвал намек «непрямым изображением». А теперь обращаю внимание на то, что при помощи противоположности и технических приемов, о которых речь впереди, можно с успехом объединить различные виды намека с изображением в одну большую группу, которую всеобъемлюще можно назвать «непрямым изображением». Ошибки мышления, унификация, не прямое изображение — таковы названия тех рубрик, под которые можно подвести ставшие нам известными технические приемы построения остроумной мысли.

При продолжении исследования нашего материала мы, вероятно, найдем новый подряд непрямого изображения, который возможно ярко охарактеризовать, но проиллюстрировать

можно лишь немногими примерами. Это изображение при помощи мелочи или детали, позволяющее решить задачу дать полную характеристику с помощью крохотной детали. Присоединение этой группы к намеку становится возможным потому, что эта деталь находится в тесной связи с изображаемым материалом, и ее можно вывести как следствие из этого материала. Например.

«Галицийский еврей едет в поезде. Он устроился очень удобно, расстегнул свой сюртук и положил ноги на скамейку. В вагон входит модно одетый господин. Тотчас еврей приводит себя в порядок и усаживается в скромной позе. Вошедший перелистывает книгу, что-то высчитывает, соображает и вдруг обращается к еврею с вопросом: «Скажите, пожалуйста, когда у нас иомкипур (судный день)?» «Так вон оно что», — думает еврей и опять кладет ноги на скамейку, прежде чем ответить на вопрос».

Нельзя отрицать, что это изображение при помощи детали связано с тенденцией к экономии, которую мы отметили при исследовании техники словесных острот как общую всем без исключения островам черту.

Совершенно таков же и следующий пример.

«Врач, приглашенный помочь баронессе при разрешении от бремени, заявляет, что срок еще не наступил и предлагает барону сыграть пока в соседней комнате в карты. Спустя некоторое время до слуха обоих мужчин донесся стон баронессы: «Ah mon dieu, que je souffre!» Супруг вскакивает, но врач удерживает его: «Это еще ничего, играем дальше». Спустя некоторое время слышно, как роженица опять стонет: «Боже мой, боже мой, какие боли!» «Не хотите ли вы войти к роженице, господин профессор?» — спрашивает барон. — «Нет, нет, еще не время». Наконец из соседней комнаты слышится не оставляющий сомнений крик «Ай, ай, ай». Тогда врач бросает карты и говорит: «Пора».

Эта удачная острота показывает на примере постепенно изменяющихся жалобных возгласов знатной роженицы, как болевые ощущения позволяют первичной природе пробиться через все наслоения воспитания и как важное решение ставится в зависимость от незначительного будто бы изменения поведения больной.

Другой вид непрямого изображения, услугами которого пользуется остроумие, — это сравнение. Мы прибегали к нему так долго потому, что обсуждение этого вида наталкивается на новые трудности, или потому, что сравнение особенно отчетливо оттеняет те трудности, которые уже имели место в других случаях.

Мы еще раньше признали, что относительно некоторых подлежащих исследованию примеров мы не могли отрешиться от сомнения, следует ли их вообще отнести к островам. И в этой неуверенности мы усматривали опасную угрозу для основ нашего исследования. Но ни при каком другом материале я не ощущал эту неуверенность так сильно и так часто, как при островах, возникающих путем сравнения. Ощущение, которое мне (да и многим другим при тех же условиях) позволяет сказать «Это острова, это можно считать островами», прежде чем открыт еще скрытый существенный характер остроты, — это ощущение легче всего покидает меня при остроумных сравнениях. Если я сразу без размышления считаю сравнение островами, то мгновение спустя я замечаю, что удовольствие, которое оно мне доставляет, другого свойства, чем то, которым я обязан островам. И тот факт, что остроумные сравнения редко вызывают такие оглушительные раскаты смеха, как от удачной остроты, не позволяет мне отделаться от этого сомнения, как раньше, хотя я ограничиваюсь лучшими примерами этого вида.

Легко показать, что есть прекрасные и эффектные примеры сравнений, которые отнюдь не производят на нас впечатления острот. Таково сравнение нежности, проходящей через дневник Оттилиенса, с красной нитью в английском флоте. Я не могу отказать себе в удовольствии привести и другое сравнение, которым не перестал еще восхищаться и которое произвело на меня неизгладимое впечатление. Это сравнение, которым Ф. Лассаль закончил свою знаменитую защитительную речь («Наука и рабочие»): «На человека, посвятившего, как я вам пояснил, всю свою жизнь девизу «Наука и рабочие», не может произвести никакого впечатления и осуждение, которое он встретит на своем пути. Так лопнувшая

реторта не производит никакого впечатления на углубленного в свои научные эксперименты химика. Слегка наморщив лоб по поводу сопротивления материала, он спокойно продолжает свои исследования, как только препятствие устранено».

Богатый выбор метких и остроумных сравнений имеется в сочинениях Лихтенберга (П. т. геттингенского издания, 1853 г.). Я позаимствую оттуда материал для нашего исследования.

«Почти невозможно пронести факел истины через толпу, не опалив кому-нибудь бороду». Это кажется, конечно, остроумным, но при ближайшем рассмотрении можно заметить, что остроумное действие исходит не из самого сравнения, а из одного его побочного качества. «Факел истины» — сравнение, собственно, не новое, а издавна употребляемое и закрепленное за фиксированной фразой, как это всегда бывает, когда речь идет о счастливом сравнении, подхваченном практикой языка. В то время как в обычной разговорной речи мы больше почти не замечаем сравнения «факел истины», у Лихтенберга ему вновь придается первоначальный смысл и из него развивается претензия на остроту, построенную на дальнейшем сравнении. Но такое употребление в оборотах речи, потерявших свой прямой смысл, уже известно нам как технический прием остроумия. Он находит себе место при многократном употреблении одного и того же материала. Весьма возможно, что остроумное впечатление от фразы Лихтенберга проистекает только от применения этого технического приема остроумия.

Это же рассуждение относится и к другому остроумному сравнению того же автора.

«Большим светилом этот человек не был, но он был большим подсвечником... Он был профессором философии».

Называть ученого большим светилом («*lumen mundi*») — это уже давно неэффективное сравнение, независимо от того, было ли это первоначально остротой или нет. Но это сравнение освежают, ему вновь придают силу и первоначально принадлежавший смысл, получая модифицированное производное от него и второе новое сравнение такого же рода. Условие этой остроты содержится в способе, который породил и второе сравнение, а не в самих сравнениях. Это случай такой же техники остроумия, как и в примере с факелом.

Следующее сравнение кажется остроумным на другом основании, подлежащем такой же оценке.

«Я рассматриваю рецензии как особый вид второй болезни, которая в большей или меньшей степени поражает новорожденные книги. Иногда самые здоровые умирают от этой болезни, а слабейшие часто переносят ее. Некоторые совсем не заболевают ею. Часто старались предохранить их талисманом предисловия и посвящения или пытались произносить над ними свой собственный приговор. Но это не всегда помогало».

Сравнение рецензии с детской болезнью основано сначала только на том, что и та и другая поражают свои жертвы вскоре после того, как те увидели свет божий. Я не решаюсь утверждать, действительно ли оно так уж остроумно. Но затем сравнение это продолжено. Оказывается, что дальнейшая участь новых книг может быть изображена в рамках этого же самого сравнения или с помощью примыкающего к нему. Такое продолжение сравнения, несомненно, остроумно. Но мы уже знаем, благодаря какой технике оно кажется таким: это случай унификации, создание непредполагавшейся связи. И характер унификации не изменяется здесь оттого, что она заключается в присоединении к первому сравнению.

В некоторых других сравнениях мы поддаемся искушению передвинуть несомненно имеющееся впечатление остроумия на другой момент, который опять-таки не имеет ничего общего с природой сравнения. Это те сравнения, которые содержат бросающееся в глаза сопоставление, а часто и абсурдно звучащую аналогию или заменяются такой аналогией в результате сравнения. Большинство примеров Лихтенберга относится к этой группе.

«Жаль, что у писателей нельзя увидеть ученую требуху, чтобы исследовать, что они ели». «Ученая требуха» — это приводящее в смущение, собственно абсурдное определение, которое становится понятным только благодаря сравнению. Как обстояло бы дело, если бы впечатление остроумия от этого сравнения целиком происходило за счет смущающего

характера этого сопоставления? Это соответствовало бы одному из хорошо известных нам приемов остроумия — изображению при помощи бессмыслицы.

Лихтенберг применил это же сравнение усвоения прочитанного и заученного материала с усвоением психической пищи также и в другой остроте.

«Он был очень высокого мнения о занятиях в комнате и стоял, таким образом, за ученую кормежку в хлеву».

Столь же абсурдное или, по крайней мере, бросающееся в глаза определение, которое, как мы начинаем замечать, является собственно носителем остроумия, содержится и в других сравнениях того же автора:

«Это — закаленная сторона моей моральной конституции, в этом пункте я могу кое-что выдержать».

«Каждый человек имеет и свою моральную изнанку, которую он не показывает без нулцы и прикрывает штанами хорошего воспитания до тех пор, пока это возможно».

Затем нас не должно удивлять, что мы в целом получаем впечатление очень остроумного сравнения. Мы начинаем замечать, что вообще склонны распространить на все в целом ту оценку, которую дали части целого. Впрочем, «штаны приличия» напоминают о подобных же, приводящих в смущение словах Гейне:

«Пока у меня, наконец, не оборвались все пуговицы

На штанах терпения».

Несомненно, что оба этих сравнения несут на себе отпечаток, который можно найти не во всех хороших, то есть удачных сравнениях. Они, можно сказать, в высокой мере принижают вещь высшей категории, абстрактное понятие (здесь: приличие, терпение), сопоставляя ее с вещью весьма конкретной и даже низшего сорта (со штанами). Имеет ли это своеобразие что-нибудь общее с остроумием, об этом мы еще будем говорить в другом месте. Попытаемся проанализировать здесь еще один пример, в котором принижающий характер выступает особенно отчетливо.

В фарсе Нёстро «Он хочет повеселиться» приказчик Вейнберл, рисуящий в своем воображении картину, как он когда-нибудь, будучи старым солидным купцом, вспомнит о днях своей юности, говорит: «Когда, таким образом, в задушевном разговоре будет разрублен лед перед магазином воспоминаний, когда магазинная дверь прошедшего будет вновь открыта, и ящик фантазии будет наполнен товарами старины...»

Это, конечно, сравнение абстрактных понятий с обыкновенными конкретными вещами, но острота зависит — исключительно или только отчасти — от того обстоятельства, что приказчик пользуется теми сравнениями, которые взяты из обихода его повседневной деятельности. Приведение же абстрактного понятия в связь с этим обыкновенным, которое сплошь заполняет его, является актом унификации.

Вернемся к сравнениям Лихтенберга.

«Побудительные основания, исходя из которых делают что-нибудь, могут быть систематизированы так же, как и 32 ветра. И названия их формулируются подобным же образом. Например: хлеб — хлеб — слава; или: слава — слава — хлеб».

Как это часто бывает в островах Лихтенберга, и здесь впечатление меткости, глубокомысленности и проницательности преобладает настолько, что наше суждение о характере остроумия вводится этим в заблуждение. Когда в таком выражении присоединяется нечто слегка остроумное к превосходной мысли, то нас, вероятно, возьмет соблазн признать все в целом за удачную остроту. Я скорее решился бы утверждать, что все здесь действительно остроумное проистекает из удивления по поводу странной комбинации «хлеб — хлеб — слава». Следовательно, это острота, пользующаяся изображением при помощи бессмыслицы.

Странное сопоставление или абсурдное определение может возникнуть само по себе как результат сравнения.

Лихтенберг: двуспальная женщина — односпальный церковный стул. За обоими определениями скрывается сравнение с кроватью. Но, кроме смущения из-за непонимания, в

обоих случаях действует еще и другой технический момент намека: в первом — на вечно неисчерпаемую тему половых отношений, во втором — на усыпительное действие проповедей.

Характеристика Лихтенбергом некоторых од:

«Они в поэзии являются тем же, чем в прозе стали бессмертные произведения Якова Бема: род пикника. Причем автор поставляет слова, а читатель — мысли».

«Когда он философствует, он обычно бросает на предметы приятный лунный свет: все в целом нравится, но ни один предмет не виден при этом отчетливо».

Или Гейне: «Ее лицо было, как рукопись, сделанная по стертым письмам на пергаменте, где под свежечерным монашеским писанием проглядывают полуугасшие стихи древнегреческого поэта о любви».

Или продолженное сравнение с весьма принижающей тенденцией в «Луккских водах»⁴⁸.

«Католический священнослужитель ведет себя скорее как приказчик, который служит в большом торговом предприятии. Церковь — этот большой торговый дом, шефом которого является папа, — дает ему определенную работу и определенное жалование за исполнение ее. Он работает вяло, как каждый работающий не на собственный риск. У него много сослуживцев, и в большом деловом обороте он легко остается незамеченным. Его интересует только кредит торгового дома, а еще больше — сохранение этого кредита, так как в случае банкротства он лишился бы средств к существованию. Протестантский священнослужитель, наоборот, является повсюду сам принципалом и выполняет религиозные дела за собственный счет. Он не занимается крупной торговлей, как его католический товарищ по профессии, а только мелкой. И так как он должен сам управлять своим предприятием, ему нельзя быть вялым. Он должен расхваливать принципы своей веры, взгляды же своих конкурентов он должен принижать. И, как настоящий мелочный торговец, он стоит в своем балагане, где продажа производится в розницу, полный профессиональной зависти ко всем большим торговым домам, в особенности к большому торговому дому в Риме, оплачивающему труд многих тысяч бухгалтеров и упаковщиков и имеющему свои отделения во всех четырех частях света».

Этот пример, равно как и многие другие, заставляет нас признать, что и сравнение может быть остроумно само по себе, то есть без того чтобы такое впечатление складывалось за счет усложнения текста одним из известных нам технических приемов остроумия. Но в таком случае от нас совершенно ускользает понимание того, чем именно определяется остроумный характер сравнения, так как он происходит, конечно, не за счет сравнения, как формы выражения мысли или действия. Мы можем отнести сравнение только к виду «непрямого изображения», которым пользуется техника остроумия, и должны оставить неразрешенной проблему, выступающую при сравнении гораздо отчетливее, чем при ранее обсуждавшихся приемах остроумия. Конечно, свое особое основание должен иметь тот факт, что ответ на вопрос, является ли данный пример остротой или нет, в случае сравнения найти труднее, чем при других формах выражения.

Но и этот пробел в нашем понимании не является основанием для того, чтобы жаловаться на нас, считая это первое исследование безрезультатным. При той тесной связи, которую мы должны приписать различным особенностям остроумия, непредусмотрительно было бы ожидать, что мы сможем полностью прояснить одну сторону проблемы, прежде чем бросим взгляд на другие ее стороны. Мы, конечно, должны будем рассмотреть выдвинутую нами проблему и с другой стороны.

Уверены ли мы, что от нашего исследования не ускользнул ни один из возможных технических приемов остроумия? Конечно, нет. Но при продолжительной проверке нового

⁴⁸ В русском переводе «Луккских вод» это сравнение было пропущено, по-видимому, из цензурных соображений. — Примеч. перев.

материала мы можем убедиться в том, что мы все же изучили самые частые и самые важные технические приемы остроумия, по крайней мере, настолько, насколько это необходимо, для того чтобы судить о природе этого психического процесса. Такого суждения в настоящее время еще нет, но зато мы приобрели важное указание, в каком направлении следует искать дальнейшее решение проблемы. Интересные процессы сгущения с заместительным образованием, которые мы распознали как ядро техники словесного остроумия, указывают нам на образование сновидения, в механизме которого были открыты те же самые процессы. На то же указывают и технические приемы остроумия по смыслу: передвигание, ошибки мышления, бессмыслица, не прямое изображение, изображение при помощи противоположности. Все они без исключения вновь проявляются в технике работы мысли во время сна. Передвиганию сновидение обязано своим странным внешним видом, который не позволяет нам видеть в нем продолжение наших мыслей во время бодрствования. За пользование бессмысленностью и абсурдностью (как техническими приемами) сновидение заплатило званием психического продукта и побудило авторов предположить, что условием образования сновидения являются распад душевной деятельности, приостановка критики, морали и логики. Изображение при помощи противоположности столь часто встречается в сновидении, что с ним обычно считаются даже народные, абсолютно неправильные сонники. Непрямое изображение, замена мысли сновидения намеком, деталью, символикой, аналогичной сравнению, являются именно тем, что отличает способ выражения сновидения от нашего бодрствующего мышления⁴⁹. Такая столь далеко идущая аналогия между приемами работы остроумия и сна едва ли может быть случайной. Подробное доказательство этой аналогии и проверка ее обоснованности явится одной из наших будущих задач.

II. Тенденции остроумия

Когда я в конце предыдущей главы привел гейневское сравнение католического священнослужителя со служащим большого торгового дома, а протестантского — с самостоятельным мелким торговцем, я испытал сомнения в правомочности приведения такого примера. Я говорил себе, что среди моих читателей, вероятно, найдутся и такие, кто считает нужным почитать не только религию, но и ее систему управления и персонал. Эти читатели придут только в негодование по поводу сравнения, и аффективное состояние отобьет у них всякий интерес к решению вопроса о том, является ли это сравнение остроумным само по себе или только из-за каких-то присоединившихся моментов. В других сравнениях, как, например, в сравнении некой философии с лунным светом, который она бросает на предметы, не нужно было бы беспокоиться о таком влиянии на часть читателей, которое мешало бы нашему исследованию. Самый набожный человек смог бы создать себе суждение о нашей проблеме.

Легко угадать характер остроты, вызывающей такую разную реакцию у слушателя. В одном случае острота является самоцелью, в другом — она преследует определенную цель и становится тенденциозной. В последнем случае она подвержена опасности наткнуться на таких людей, которые не пожелают ее слушать.

Нетенденциозная острота названа Т. Фишером «абстрактной»; я предпочитаю называть ее «безобидной» («harmlos»).

Раньше мы подразделили остроты по материалу, на котором выяснялась их техника, на словесные и остроты по смыслу. Теперь нам надлежит исследовать отношение такого разделения к произведенному только что. Словесная острота и острота по смыслу, с одной стороны, и абстрактная и тенденциозная — с другой, не стоят ни в какой связи по влиянию, оказываемому ими друг на друга. Это два совершенно независимых друг от друга подразделения остроумия. Быть может, у кого-нибудь создалось впечатление, будто безобидные

⁴⁹ Сравните мое «Толкование сновидений». Глава IV Работа сна.

остроты являются преимущественно словесными, в то время как остроты с ярко выраженными тенденциями в большинстве случаев используют более сложную технику острот по смыслу. Однако существуют безобидные остроты, построенные на игре слов и созвучии, наряду с безобидными островами, в которых используются все приемы острот по смыслу. Не менее легко показать, что тенденциозная острота по технике своей может быть ничем иным, как словесной остротой. Так, например, остроты, играющие собственными именами, часто имеют более обидную, оскорбительную тенденцию, а относятся, разумеется, к словесным островам. Но самыми безобидными из всех острот являются все-таки словесные остроты. Таково, например, ставшее недавно излюбленным рифмоплетство, в котором техника заключается в многократном употреблении одного и того же материала совершенно со своеобразной модификацией:

Und well er Geld in Menge hatte,

lag stets er in der Hangematte.

(«И так как он имел много денег, он всегда лежал в гамаке».)

Думаю, никто не станет отрицать, что удовольствие от такого рода невзыскательных рифм является тем именно фактором, по которому мы распознаем остроту.

Хорошие примеры абстрактных или безобидных острот по смыслу имеются в большом количестве среди сравнений Лихтенберга. Некоторые из них мы уже изучили. Я присоединяю сюда еще несколько.

«Чтобы возвести эту постройку надлежащим образом, прежде всего должен быть заложен хороший фундамент. И я не знаю более прочного фундамента, чем тот, в котором над каждым слоем «рго» сейчас же кладут слой «contra».

«Один рождает мысль, другой устраивает ей крестины, третий приживает с ней детей, четвертый посещает ее на смертном одре, а пятый погребает ее» (сравнение с унификацией).

«Он не только не верил ни в каких духов, но и не раз боялся их». Острота заключается здесь исключительно в бессмысленном изображении, когда понятие, имеющее обычно незначительную ценность, ставится в сравнительной степени; понятие же, считающееся более важным — в положительной степени. Если отказаться от этой хитроумной оболочки, то мысль, заключенная в остроте, будет гласить: гораздо легче победить разумом боязнь привидений, чем защищаться от них, вообразив их существующими. Но это вовсе не остроумно, это правильное и еще слишком мало оцененное психологическое суждение, то именно суждение, которое Лессинг выразил следующими известными словами:

«Es sind nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten». («Не все те свободны, кто иронизирует по поводу своих цепей».)

Я хочу воспользоваться удобным случаем, представляющимся здесь, чтобы устранить могущее все-таки возникнуть недоразумение. «Безобидная» или «абстрактная» острота отнюдь не должна быть равнозначна остроте «празднословной»; она является только противоположностью обсуждаемым в дальнейшем «тенденциозным» островам. Как показывает вышеприведенный пример, безобидная, то есть лишенная тенденций острота тоже может быть очень содержательной и выражать нечто ценное. Но содержание остроты вполне независимо от нее самой и является содержанием той мысли, которая получила в ней остроумное выражение с помощью особой техники. Конечно, как часовой мастер обычно снабжает особенно хороший механизм ценным футляром, так может обстоять дело и с остротой: лучшие произведения остроумия используются именно как оболочка для самых содержательных мыслей.

Если мы обратим сугубое внимание на то, чтобы отличать содержание мыслей от остроумной оболочки, то мы придем к заключению, которое разъяснит нам многое в нашем суждении об остроумии, в чем мы были не уверены. А именно, оказывается, хотя это и поражает нас, что наше благосклонное отношение к остроте является результатом суммированного действия содержания и техники остроумия, и что мы по одному из факторов совершенно ложно судим о размерах другого. Лишь редукция остроты раскрывает нам обман суждения.

Впрочем, то же самое оказывается верным и для словесной остроты. Когда мы слышим, что «жизненное испытание состоит в том, что испытывают то, чего не хотят испытывать», то мы смущены, думаем, что слышим новую истину, и проходит некоторое время, пока мы узнаем в этой оболочке тривиальную мысль: «Страдания учат уму-разуму» (К. Фишер). Отличная техника остроумия, определяющая «испытание» почти только употреблением слова «испытывать», вводит нас в обман настолько, что мы переоцениваем содержание этой фразы. Так же обстоит для нас дело и при остроте Лихтенберга об «январе», которая возникает путем унификации и не говорит ничего, кроме того, что мы уже давно знаем, а именно, что новогодние пожелания сбываются так же редко, как и другие пожелания. Так же обстоит дело и во многих подобных случаях.

Обратное мы встречаем при других остротах, в которых нас пленяет меткость и правильность мысли и потому мы называем предложение блестящей остротой, в то время как блестяща только мысль, а техника остроумия часто слаба. Как раз в остротах Лихтенберга ядро мысли часто гораздо ценнее, чем остроумная оболочка, на которую мы затем неправильно распространяем оценку первого. Так, например, замечание о «факеле истины» является едва ли остроумным сравнением, но оно так метко, что мы можем отметить это предложение как особенно остроумное.

Остроты Лихтенберга являются выдающимися, прежде всего, благодаря содержанию их мыслей и их меткости. Гете по праву сказал об этом авторе, что за его остроумными и шутливыми идеями скрыты прямо-таки проблемы; точнее говоря, они затрагивают решение проблем. Например, он отмечает как остроумную мысль:

«Он так ревностно изучал Гомера, что всегда читал Agamemnon вместо *angenommen*» (технически: глупость + созвучие). Но этим он только раскрывает тайну опечатки^{50 51}. Такова же и приводимая раньше острота, техника которой показалась нам очень неудовлетворительной:

«Он удивлялся, что у кошек вырезаны в шкуре две дыры как раз на том месте, где у них были глаза». Глупость, выставленная здесь напоказ, только кажущаяся. В действительности за этим глупым замечанием скрыта большая проблема телеологии в построении организма животного. Совсем уж не так само собой понятно, что щель между веками открывается там, где лежит свободная часть роговой оболочки, пока эмбриология не объяснит нам этого совпадения.

Мы хотим подчеркнуть, что получаем от остроумного предложения совокупное представление, в котором не можем отделить участие содержания мыслей от участия работы остроумия. Быть может, в дальнейшем будет найдена еще более наглядная параллель.

Для нашего теоретического объяснения сущности остроумия безобидные остроты должны быть важнее, чем тенденциозные, бессодержательные — ценнее, чем глубокомысленные. Безобидная и бессодержательная игра слов выставит перед нами проблему остроумия в чистейшей ее форме, так как при ней мы избегаем опасности быть введенным в заблуждение тенденцией и в обман суждения — логичным смыслом. На таком именно материале наше познание может ожидать новый успех.

Я выбираю по возможности безобидный пример словесной остроты:

«Девушка, которой доложили о приходе гостей в то время, когда она совершала свой туалет, воскликнула: «Ах, как жаль, что человек не может показаться как раз тогда, _N когда он (*am anziehendsten*) — одевается-привлекательнее всего»

Так как у меня возникает сомнение, имею ли я право выдавать эту остроту за безобидную, я заменяю ее другой, наивно простодушной, которая заведомо свободна от

⁵⁰ Сравните мою «Психопатологию обыденной жизни».

⁵¹ R. Kleinpaul. «Die Ratsel der Sprache».

такого возражения.

В одном доме, куда я был приглашен в гости, к концу обеда было подано мучное блюдо, называемое Roulard, приготовление которого требует большого кулинарного искусства. Поэтому один из гостей спросил: «Это блюдо приготовлено дома?», на что хозяин дома отвечает: «Да, конечно, Home-Roulard» (Home-Rule).

На этот раз мы хотим исследовать не технику остроумия, а думаем обратить внимание на другой, самый важный момент. Выслушивание этой импровизированной остроты доставило присутствующим ясно вспоминаемое мною удовольствие и заставило нас смеяться. В этом случае, как и в бесчисленных других, получение слушателем удовольствия может проистекать не от тенденции и не от содержания мыслей. И не остается ничего другого, как связать между собой получение удовольствия с техникой остроумия. Описанные нами выше технические приемы остроумия — сгущение, передвигание, не прямое изображение и т. д. — обладают, таким образом, способностью вызывать у слушателей удовольствие, хотя мы еще совсем не можем понять природу этой способности. Таким легким путем мы получили второе положение для объяснения остроумия. Первое же положение гласило, что характер остроумия зависит от формы выражения. Подумаем еще о том, что второе положение не научило нас, собственно, ничему новому. Оно обособляет только то, что содержалось уже в опыте, сделанном нами ранее. Мы вспоминаем, что когда удавалось редуцировать остроту, то есть заменить одно выражение другим, тщательно сохранив его смысл, то этим упразднялся не только характер остроумия, но и смехотворный эффект, следовательно — удовольствие от остроты.

Мы не можем идти здесь дальше, не разделившись с нашими философскими авторитетами.

Философы, которые причисляют остроумие к комическому и само комическое трактуют в эстетике, характеризуют комическое представление одним не переменным условием, согласно которому мы при этом ничего не хотим от вещей, не нуждаемся в них для удовлетворения какой-нибудь из наших важных жизненных потребностей, а просто довольствуемся их созерцанием и наслаждаемся их представлением. «Это наслаждение, этот ряд представлений — чисто эстетический. Он зависит только от себя, только в себе имеет свою цель и не выполняет никаких других жизненных целей» (К. Фишер).

Мы едва ли находимся в противоречии с этими словами К. Фишера и переводим, быть может, только его мысли в наш способ выражения, когда подчеркиваем, что остроумная деятельность все-таки не может быть названа нецелесообразной или бесцельной, так как она несомненно ставит себе целью вызывать у слушателя удовольствие. Я сомневаюсь, можем ли мы вообще предпринять что-либо, не приняв во внимание цель. Если наш душевный аппарат не нужен нам для выполнения одного из необходимых удовлетворений, то мы позволяем ему самому работать для удовольствия, стремимся извлечь удовольствие из его собственной работы. Я полагаю, что это вообще является условием, которому подчинены все эстетические представления. Но я слишком мало понимаю в эстетике, чтобы доказать это положение. Что же касается остроумия, то я могу, на основании двух доказанных раньше положений, утверждать, что оно является деятельностью, направленной на получение удовольствия от душевных процессов — интеллектуальных или каких-то других. Существуют, конечно, еще и другие виды деятельности, которые имеют своей целью то же самое. Быть может, их отличие заключается в том, из какой области душевной деятельности они черпают удовольствие; а может быть — в методе, которым они при этом пользуются. В настоящую минуту мы этого не можем решить. Но мы придерживаемся того мнения, что техника остроумия и отчасти управляющая ею тенденция к экономии имеют отношение к получению удовольствия.

Но прежде чем мы попытаемся разрешить загадку, каким образом технические приемы работы остроумия могут вызывать удовольствие у слушателя, хочу напомнить о том, что для упрощения и большей ясности мы совсем отложили в сторону тенденциозные остроты. Но все-таки нужно попытаться объяснить, каковы тенденции остроумия и каким образом оно

обслуживает эти тенденции.

Одно наблюдение прежде всего напоминает нам о том, что мы не должны оставлять в стороне тенденциозную остроту при исследовании происхождения удовольствия, получаемого от остроумия. Удовольствие от безобидной остроты в большинстве случаев умеренное; отчетливое благоволение, легкая усмешка — вот что она может вызвать у слушателя. К тому же некоторую часть этого эффекта нужно еще отнести за счет содержания мысли, как мы заметили на некоторых примерах. Острота, лишенная тенденциозности, почти никогда не вызывает тех неожиданных взрывов смеха, которые делают столь неотразимой тенденциозную остроту. Так как техника в обоих случаях может быть одинаковой, то у нас должно возникнуть предположение, что тенденциозная острота именно в силу своей тенденциозности должна обладать источниками удовольствия, недоступными безобидной остроте.

Тенденции остроумия легко обозреть. Там, где острота не является самоцелью, то есть там, где она не безобидна, она обслуживает только две тенденции, которые могут быть даже объединены в одну точку зрения: она является либо враждебной (которая обслуживает агрессивность, сатиру, оборону), либо скабрезной остротой (которая служит для обнажения). Прежде всего нужно отметить; что технический вид остроумия — будет ли это словесная острота или острота по смыслу — не имеет никакого отношения к обеим этим тенденциям.

Гораздо подробнее следует изложить, каким образом остроумие обслуживает эти тенденции. Я хотел бы при этом исследовании сделать почин не враждебной, а обнажающей остротой, которая гораздо реже удаивалась исследования, как будто отрицательное отношение к материалу исследования было перенесено здесь на сам предмет исследования. Мы, однако, не позволим ввести себя, в заблуждение, так как вскоре наткнемся на пограничный случай остроумия, который обещает привести нас к выяснению не одного неясного пункта.

Известно, что понимается под «сальностью»: умышленное подчеркивание в разговоре сексуальных обстоятельств и отношений. Пока это определение не более основательно, чем другие. Доклад об анатомии половых органов или о физиологии совокупления не имеет, несмотря на это определение, ни одной точки соприкосновения, ничего общего с сальностью. К этому присоединяется еще и то, что сальность предназначена определенному лицу, которое вызывает у рассказчика половое возбуждение и при выслушивании сальности должно узнать об этом и само испытать сексуальное возбуждение. Вместо этого оно может быть пристыжено или приведено в смущение, что означает только реакцию на возбуждение и таким окольным путем — признание его появления. Таким образом, сальность первоначально направлена на женщину и должна быть приравнена к попытке совращения. Если мужчина затем забавляется в мужском обществе, рассказывая или выслушивая сальности, то этим изображается вместе с тем и первоначальная ситуация, которая не может быть осуществлена. Кто смеется над услышанной сальностью, тот смеется как очевидец сексуальной агрессивности.

Сексуальное начало, которое образует содержание сальности, охватывает больше, чем признаки отличия одного пола от другого. Кроме того, оно включает и то общее между обоими полами, на что распространяется стыд, следовательно на экскрементируемое во всем его объеме. А-это есть тот объем, который имеет сексуальное начало в детском возрасте, когда в представлении ребенка существует только клоака, внутри которой сексуальное и экскрементальное содержание плохо или вовсе не отделены друг от друга⁵². Повсюду в области психологии неврозов сексуальное замыкается на экскрементальном; оно понимается в старом, инфантильном смысле.

Сальность — это как бы обнажение того человека противоположного пола, против которого она направлена. Скабрезные слова вынуждают человека представлять себе

⁵² См. мою «Теорию полового влечения».

соответствующую часть тела или физиологическое отправление и показывают ему, что и тот, кто произнес эти слова, сам представляет себе то же самое. Нет сомнения, что первоначальным мотивом сальности является удовольствие, испытываемое от рассматривания сексуального в обнаженном виде.

Для нашего объяснения будет только полезно, если мы вернемся к самым основам. Влечение видеть то, что отличает один пол от другого, является одним из первоначальных компонентов нашего либидо. Оно само является, быть может, уже заменой и сводится на предполагаемое первичным удовольствие, испытываемое от прикосновения к сексуальному. Как это часто бывает, рассматривание заменило здесь ощупывание⁵³. Либидо рассматривания и ощупывания существует у каждого в двояком виде — активном и пассивном, в мужском и женском — и формируется, смотря по степени преобладания полового характера, в одном или другом направлении. У маленьких детей можно легко наблюдать влечение к самообнажению. Там, где это влечение не преодолевается в зародыше и не подавляется, оно развивается в перверсию у взрослых мужчин, известную в качестве эксгибиционистического стремления. У женщины пассивное эксгибиционистическое влечение почти всегда преодолевается великолепным реактивным образованием в виде сексуальной стыдливости, но не без того, чтобы оно не сохранило за собой лазейки в одежде. Мне остается только указать, что оставшиеся разрешенными женщине размеры эксгибиционизма растяжимы и варьируются по условности и по обстоятельствам.

У мужчины продолжает существовать высокая степень этого стремления как составная часть либидо, и оно обслуживает вступление в половой акт. Если это стремление дает б себе знать при первом приближении к женщине, то оно должно обслуживаться двумя мотивами разговора: во-первых, чтобы заявить о себе женщине; во-вторых, чтобы, вызывая при помощи разговора определенное представление, вызвать в самой женщине ответное возбуждение и разбудить в ней влечение к пассивному эксгибиционизму. Эта домогающаяся речь — еще не сальность, но она в конце концов переходит в сальность. А именно там, где готовность женщины наступает скоро, там сальный разговор недолговечен — он тотчас уступает место сексуальному действию. Иначе обстоит дело, когда нельзя рассчитывать на быструю готовность женщины, и вместо этой готовности появляется оборонительная реакция. Тогда сексуально возбуждающий разговор, каким является сальность, станет самоцелью. Но поскольку сексуальная агрессивность тормозится в своем прогрессировании до полового акта, то она не спешит вызывать возбуждение и извлекает удовольствие от вида признаков такого возбуждения у женщины. Агрессия изменяет при этом также и свой характер в том же смысле, как и каждое либидозное побуждение, которому противопоставляется препятствие. Она становится откровенно враждебной, жестокой и, чтобы убрать препятствие, призывает на помощь садистские компоненты полового влечения.

Неподатливость женщины является, следовательно, ближайшим условием для образования сальности (конечно, такая неподатливость, которая обозначает просто отсрочку и не полагает безнадежным дальнейшее домогательство). Идеальный случай такого сопротивления женщины наблюдается при одновременном присутствии другого мужчины, третьего участника, потому что тогда немедленная податливость женщины, безусловно, исключена. Этот третий тотчас получает величайшее значение для развития сальности. Но, прежде всего, нельзя не принимать во внимание присутствие женщины. У простого народа или в трактире для мелкого люда можно наблюдать, что даже только приближение кельнерши или трактирщицы вызывает сальность. На более высокой социальной ступени наступает противоположное: именно приближение женщины кладет конец сальности. Мужчины приберегают этот вид беседы, который первоначально предполагает присутствие стыдливой женщины, до той поры, когда они останутся «в холостом обществе». Так постепенно место женщины занимает зритель, теперь слушатель, то есть инстанция, для

⁵³ Влечение к контракции Молля (Untersuchungen Liber die Libido sexualis, 1898).

которой и предназначена сальность, которая, благодаря такому превращению, приближается уже к характеру остроты.

Наше внимание, начиная с этого момента, может быть обращено на два фактора: на роль третьего, слушателя, и на содержание самой сальности.

Для тенденциозной остроты нужны в общем случае три лица: кроме того лица, которое острит, нужно второе лицо, которое берется как объект для враждебной или сексуальной агрессивности, и третье лицо, с помощью которого достигается цель остроты — извлечение удовольствия. Более глубокое обоснование этих соотношений мы найдем в дальнейшем. Пока же отметим лишь тот факт, что по поводу остроты смеется не тот, кто острит (следовательно, не он получает удовольствие), а бездеятельный слушатель. В таком же отношении находятся три лица при сальности. Этот процесс можно описать так: поскольку удовлетворение женщиной откладывается, либидозный импульс первого лица развивает враждебный импульс против второго лица и призывает в союзники третье лицо, первоначально мешавшее. Сальным разговором первого лица женщина обнажается перед третьим лицом, которое теперь подкупается в качестве слушателя удовлетворением его собственного либидо, полученным без всякого труда.

Замечательно, что такой сальный разговор чрезвычайно излюблен простым народом, и дело никогда не обходится без него, если общество находится в веселом настроении духа. Но достойно внимания также и то, что при этом сложном процессе, который несет в себе столько характерных черт тенденциозной остроты, самой сальности не предъявляется ни одно из тех формальных требований, которые характеризуют остроту. Высказывание открытой непристойности доставляет первому лицу удовольствие и заставляет третье лицо смеяться.

Лишь когда мы начинаем рассматривать высокообразованное общество, присоединяется формальное условие остроумия. Сальность становится интересной и терпимой только в том случае, если она остроумна. Техническим приемом, которым она в большинстве случаев пользуется, является намек, то есть замена деталью, чем-либо находящимся в отдаленной связи, которую слушатель реконструирует в своем представлении в полную и прямую скабрзность. Чем больше несоразмерность между прямо указанным в сальности и неизбежно возбужденным ею воображением слушателя, тем тоньше острота, тем скорее она может войти в хорошее общество. Кроме грубого и тонкого намека, в распоряжении остроумной сальности имеются, как можно легко показать на примерах, все другие приемы словесной остроты и остроты по смыслу.

Теперь становится, наконец, понятно, что именно дает острота для обслуживания своей тенденции. Она делает возможным удовлетворение влечения, похотливого и враждебного, несмотря на стоящее на пути препятствие, которое она обходит и черпает, таким образом, удовольствие из источника, ставшего недоступным из-за препятствия. Стоящее на пути препятствие является, собственно, ничем иным, как повышенной неспособностью женщины переносить незамаскированную сексуальность (из-за более высокой ступени образования и общественного положения). Если в исходной ситуации женщина присутствовала, она продолжает считаться зримой, или ее влияние продолжает пугающе действовать на мужчин и в ее отсутствие. Можно наблюдать, как мужчины высшего общества тотчас становятся предрасположенными обществу нижестоящих девушек и к замене остроумной сальности простой.

Силу, которая затрудняет или делает невозможным для женщины (а в незначительной степени и для мужчины) получать удовольствие от незамаскированной скабрзности, мы называем «вытеснением». В ней мы узнаем тот же психический процесс, который в случае серьезных заболеваний держит вдали от сознания целые комплексы побуждений вместе с их производными и является главным обуславливающим фактором при так называемых психоневрозах. Мы признаем за культурой и хорошим воспитанием большое влияние на образование вытеснения. Предполагаем, что при этих условиях осуществляется изменение психической организации (которое может быть вызвано и унаследованным

предрасположением). В результате то, что воспринималось прежде как приятное, кажется теперь неприятным и отвергается всеми психическими силами. Вытесняющая работа культуры приводит к потере первичных, но отвергнутых нашей цензурой возможностей наслаждения. Но для психики человека каждое отречение очень болезненно. Таким образом, мы находим, что тенденциозная острота возвращает возможность вновь получить потерянное. Когда мы смеемся по поводу тонкой скабрёзной остроты, то мы смеемся над тем самым, что заставляет крестьянина смеяться при грубой сальности. Удовольствие проистекает в обоих случаях из одного и того же источника. Но смеяться по поводу грубой сальности мы не могли бы — нам было бы стыдно или она показалась бы нам отвратительной. Мы можем смеяться лишь тогда, когда-нам на помощь пришло остроумие.

Таким образом, для нас подтверждается то, что мы предположили вначале: тенденциозная острота располагает иными источниками удовольствия, чем безобидная, при которой все удовольствие так или иначе связано с техникой. Мы можем также снова подчеркнуть, что при тенденциозной остроте наше восприятие не в состоянии отделить, какую часть нашего удовольствия мы получаем от техники остроты, а какую — от ее тенденции. То есть, строго говоря, мы не знаем, над чем смеемся. В скабрёзных остротах мы подвержены яркому обману суждения о «доброкачественности» остроты, поскольку это зависит от формальных условий. Техника таких острот часто очень бедна, а их смехотворный эффект огромен.

Теперь исследуем, играет ли острота ту же самую роль при обслуживании враждебной тенденции.

С самого начала мы наталкиваемся и здесь на те же условия. Враждебные импульсы против ближних подвержены, начиная с нашего индивидуального детства, равно как и с детских времен человеческой культуры, тем же ограничениям, тому же прогрессирующему вытеснению, что и наши сексуальные стремления. Мы еще не дошли до того, чтобы быть в состоянии любить своих врагов или подставить им левую щеку после удара по правой. Все моральные предписания в области ограничения деятельной ненависти несут и поныне на себе явные признаки того, что первоначально они были предназначены для небольшой общины соплеменников. Поскольку все мы чувствуем себя принадлежащими к одному определенному народу, мы позволяем себе не принимать во внимание большинство этих ограничений в отношении к чужим народам. Но внутри своего собственного круга мы все же сделали успехи в сдерживании враждебных побуждений, как это резко выразил Лихтенберг: «Где теперь говорят «Извините, пожалуйста», там прежде давали пощечину». Насильственная враждебность, запрещенная законом, сменилась руганью. Лучшее признание обуздания человеческих побуждений все больше лишает нас способности сердиться на ближнего, ставшего у нас на пути, благодаря постоянному следованию принципу «*Tout comprendre c'est tout pardonner*» («Все понять — значит все простить»). Еще детьми мы бываем одарены сильной способностью к Враждебности. Позже высшая личная культура учит нас, что нехорошо употреблять ругательства; и даже там, где борьба сама по себе разрешена, число приемов, которые нельзя применять как средства борьбы, чрезвычайно велико. С тех пор как мы должны были отказаться от выражения враждебности при помощи действия (чему препятствует и беспристрастное третье лицо, в интересах которого лежит охрана личной безопасности), мы создали, как и при сексуальной агрессивности, новую технику оскорблений, которая имеет целью завербовать это третье лицо против нашего врага. Делая врага мелким, низким, презренным, комическим, мы создаем себе окольный путь для наслаждения победой над ним. Это наслаждение подтверждает нам своим смехом третье лицо, не приложившее никаких усилий к этой победе.

Мы, таким образом, подготовлены к роли остроумия при враждебной агрессивности. Острота позволяет нам использовать все то смешное, что есть в нашем враге и что мы не смеем или сознательно не хотим отметить вслух. Таким образом, острота обходит ограничения и открывает считавшиеся недоступными источники удовольствия. Далее, она подкупает слушателя тем, что доставляет ему удовольствие, не производя строжайшего

испытания нашей пристрастности. Мы и сами делаем это иной раз, подкупленные безобидной остротой и переоценивающие содержание остроумного предложения. В немецком языке существует очень меткое выражение: «Насмешники привлекают на свою сторону».

Возьмем, например, разбросанные в предыдущей главе остроты господина N. Это все без исключения ругательства. Они носят такой характер, как будто N. хотел громко воскликнуть: «Но ведь министр земледелия сам бык! Оставьте меня в покое с Y., который лопается от тщеславия! Более скучного, чем статьи этого историках) Наполеоне в Австрии, я еще никогда не читал!» Но высокое положение его особы делает для него невозможным выражение своих суждений в этой форме. Поэтому он прибегает к помощи остроумия, обеспечивающего ему у слушателя успех, которого он никогда не имел бы, будь его мысли высказаны в неостроумной форме, хотя содержание их и соответствовало бы истине. Одна из этих острот особенно поучительна, это острота о «красном пошляке (Fadian)», быть может самая агрессивная из всех острот. Что в ней заставляет нас смеяться и всецело отвлекает наше внимание от вопроса, справедливо ли это суждение о бедном писателе или нет? Конечно, остроумная форма; следовательно, сама острота. Но над чем мы смеемся при этом? Без сомнения, над самым лицом, которое было представлено нам как «красный пошляк (Fadian)», и в особенности над его красными волосами. Образованный человек отвык насмехаться над недостатками внешности и для него красные волосы не являются объектом для насмешки. Но над красными волосами продолжают насмехаться гимназисты и простой народ, а также еще в процессе выборов общественных и парламентских представителей. А эта острота гр-на N. искуснейшим образом дала нам, взрослым и чутким людям, возможность смеяться, как гимназисты, над красными волосами историка X. Это, конечно, не было целью гр-на N. Но весьма сомнительно, что кто-нибудь, создающий свою остроту, может точно знать ее цель.

Если в этих случаях препятствие для агрессивности, обойденное с помощью остроты, было внутренним — эстетический протест против ругани, — то в других случаях оно может быть чисто внешнего происхождения. Таков случай, когда светлейший князь, которому бросилось в глаза сходство его собственной персоны с простым работником из его имения, спрашивает, служила ли его мать когда-либо в резиденции; а находчивый ответ на этот вопрос гласит: «Мать не служила, зато там служил мой отец». Работник хотел бы, конечно, осадить наглеца, который осмелился позорить таким намеком его мать. Но этот наглец — светлейший князь, которого он не смеет ни осадить, ни оскорбить, если хочет сохранить себе жизнь. Значит ли это, что нужно молча задушить в себе обиду? К счастью, острота указывает безопасный путь отмщения, принимая этот намек с помощью технического приема унификации и адресуя его нападающему светлейшему князю. Впечатление остроты настолько определяется здесь тенденцией, что мы при наличии остроумного ответа склонны забыть, что вопрос нападающего сам остроумен из-за содержащегося в нем намека.

Внешние обстоятельства так часто являются препятствием для ругани или оскорбительного ответа, что тенденциозная острота особенно охотно употребляется в случаях осуществления агрессивности или критики лиц, вышестоящих или претендующих на авторитет. Острота представляет собой протест против такого авторитета, освобождение от его гнета. В этом же факте заключается и вся прелесть карикатуры, по поводу которой мы смеемся даже тогда, когда она малоудачна, потому только, что ставим ей в заслугу протест против авторитета.

Если мы будем иметь в виду, что тенденциозная острота весьма пригодна к нападению на все большое, достойное и могущественное, которое защищено от непосредственного унижения внутренними препятствиями или внешними обстоятельствами, то мы должны будем прийти к особому пониманию некоторых групп острот, высказываемых малообразованными, бессильными людьми. Я имею в виду истории с посредниками брака, с некоторыми из которых мы познакомились при исследовании разнообразных технических приемов острот по смыслу. В некоторых из них, например, «Она глуха также» и «Разве

можно доверять этим людям что-нибудь!» посредник высмеивается, как неосторожный и оплошный человек, который становится комичным потому, что у него как бы автоматически вырывается правда. Но согласуется ли наше знание о природе тенденциозной остроты и степень нашего благоволения к этим историям с убожеством лиц, над которыми, по-видимому, насмехается острота? Достойны ли эти персонажи остроумия? Не обстоит ли дело, скорее, таким образом, что остроумие лишь выдвигает вперед посредника, чтобы попасть в нечто более значительное? Что оно, как говорит пословица, целит в бровь, а попадает в глаз? Такой трактовки фактически нельзя исключить.

Вышеизложенное толкование историй о посредниках может быть продолжено. Правда, мне не нужно вникать в них, я могу довольствоваться тем, что буду видеть в этих историях шутки, и отказать им в названии остроты. Существует, следовательно, и такая субъективная условность остроты. Мы теперь обратили на нее внимание и должны будем впоследствии исследовать ее. Она утверждает, что только то является остротой, что я могу считать остротой. То, что для меня является остротой, для других может быть только комической историей. Но если острота допускает это сомнение, то причина этого лежит лишь в том, что она имеет показную сторону; в нашем смысле — комический фасад, которым вполне насыщается взгляд одного человека, в то время как другой человек может сделать попытку рассмотреть, что находится позади этого фасада. Может возникнуть также подозрение, что этот фасад предназначен для того, чтобы ослепить испытующий взгляд, что такие истории, следовательно, что-то скрывают.

Во всяком случае, если наши истории с посредниками — остроты, то они из лучших, так как за своим фасадом скрывают не только то, что им нужно сказать, но и то, что они хотят сказать нечто запретное. Продолжение же такого толкования, которое открывает скрытый смысл и разоблачает тот факт, что эти истории с комическим фасадом являются тенденциозными остротами, было бы следующим: каждый, у кого в неосторожный момент вырывается правда, фактически рад тому, что он освободился от необходимости притворяться. Это верное и глубоко психологическое положение. Без такого внутреннего согласия никто не позволит одержать верх над собой автоматизму, который выявляет здесь истину⁵⁴.

Но этим самым смешная личность шадхена превращается в достойную сожаления, симпатичную личность. Как должен блаженствовать, наконец, человек, который может сбросить ярмо притворства, когда он пользуется удобным случаем, чтобы выкрикнуть последнюю долю истины! Как только он замечает, что дело проиграно, что невеста не нравится молодому человеку, он охотно обнаруживает, что она имеет еще один, скрытый недостаток, которого не заметил претендент на руку невесты. Или он пользуется поводом и приводит вместо детали решительный аргумент, чтобы выразить этим свое презрение людям, в пользу которых он работает: «Скажите, пожалуйста, разве кто доверит этим людям что-нибудь!» Здесь ирония падает и на родителей, только вскользь упомянутых в этой истории и считающих позволительным подобное надувательство, лишь бы во чтобы то ни стало выдать замуж свою дочь; и на убожество девушек, которые позволяют себе выходить замуж при подобных обстоятельствах; и на недостойность браков, имеющих такие прелюдии. Посредник является тем именно человеком, который может дать выражение такой критике. Он в большинстве случаев знает об этих злоупотреблениях, но не должен говорить о них вслух, потому что это бедный человек, который может добывать средства к жизни только если не будет пренебрегать такими злоупотреблениями. Но в подобном же конфликте находится и дух народа, создавшего эту и ей подобные истории. Люди знают, что святость браков в большой мере страдает от порядка их заключения.

Вспомним также и о замечании, сделанном нами при исследовании техники остроумия.

⁵⁴ Это механизм, управляющий оговорками и другими феноменами, которыми человек сам себя выдает. См. «Психопатологию обиденной жизни».

Оно гласит, что бессмыслица в остроте часто заменяем насмешку и критику в мыслях, скрывающихся за нею.

И в этом, кстати, работа остроумия сходна с работой сновидения. Мы видам, что это положение вещей здесь снова подтверждается. Что насмешка и критика относятся не к личности посредника, который в предыдущих примерах является только козлом отпущения остроумия, будет доказано рядом других острот. В них посредник является, в противоположность этим остротам, мыслящей личностью, способной на самый замысловатый поступок. Это истории с логическим фасадом вместо комического и софистические остроты по смыслу. В одной из них посредник прекрасно знает, как ему вести диспут о недостатке невесты — ее хромоте. Это, по крайней мере, «готовое дело». Другая женщина, со здоровыми конечностями, подвержена постоянной опасности сломать себе ногу, после чего придут болезнь, боли, расходы на лечение, которые можно сэкономить, женившись на уже готовой хромоножке. Или в другой истории посредник находит возражения на целый ряд указываемых претендентом недостатков невесты. На каждое указание в отдельности он приводит веские аргументы, чтобы при указании на дефект, который не может быть ничем скрашен, возразить: «А что же вы хотели? Чтоб она не имела ни одного недостатка?». И тогда кажется, будто от прежних возражений не осталось никакого неблагоприятного впечатления. Нетрудно в обоих примерах указать на слабое место в аргументации. Мы сделали это и при исследовании техники. Но теперь нас интересует нечто другое. Если речи посредника придается такая строгая логическая видимость, которая при тщательной проверке оказывается только видимостью, то истина скрывается в том, что острота указывает на правоту посредника. Мысль не решается серьезно признать за ним правоту, заменяет эту серьезность видимостью, которую создает острота, но под видом шутки часто кроется серьезность. Мы не ошибемся, если признаем за всеми этими историями с логическим фасадом, что в них серьезно относятся к тому, о чем утверждается с намеренно несерьезным обоснованием. Лишь это применение софизма для скрытого изображения истины придает ему характер остроумия, который зависит, следовательно, главным образом от тенденции. Следует указать на то, что в каждой истории жених действительно оказывается в смешном положении: он тщательно выискивает отдельные преимущества, которые являются, однако, ненадежными. И при этом забывает, что он должен быть готов взять в жены смертную женщину с неизбежными недостатками. И единственным качеством, которое делает приемлемой для него эту женщину, является взаимное расположение и готовность к исполненному любви приспособлению. А о нем-то нет и речи в этих торгах.

Содержащееся во всех этих примерах высмеивание претендента на брак, причем посредник играет только пассивную роль рассудительного человека, выражено в других историях гораздо отчетливее. Чем нагляднее эти истории, тем меньше техники остроумия содержится в них. Они являются только как бы пограничным случаем остроумия, с техникой которого у них имеется лишь одна общая черта — фасадное образование. Но из-за той же тенденции и сокрытия ее за фасадом им присущ в полной мере характер остроты. Бедность техническими приемами делает, кроме того, понятным, почему многие остроты этого рода не могут быть без особого ущерба лишены комического элемента жаргона, который действует подобно технике остроумия.

Такова следующая история, в которой, несмотря на признаки тенденциозного остроумия, абсолютно нет его техники.

«Посредник спрашивает: «Чего вы требуете от вашей невесты?» Ответ: «Она должна быть красива, богата и образована». «Хорошо, — говорит посредник. — Но из набора этих качеств я составлю три партии». Здесь выговор сделан мужчине прямо, он больше не облачен в форму остроты.

В приведенных до сих пор примерах замаскированная агрессивность направлялась еще и против лиц (в остротах о посредниках — против сторон), которые участвуют в церемонии заключения брака: невесты, жениха и их родителей. Но объектами нападок остроумия в

такой же мере могут быть и социальные институты, и лица (поскольку они являются носителями этих институтов), и уставы морали, религии, мировоззрения, — те, кто пользуется таким уважением, что возражение против них не может быть сделано иначе, как под маской остроумия, а именно остроты, скрытой за своим фасадом. Темы, которые имеет в виду такая тенденциозная острота, могут быть немногочисленны, но ее формы и облачения крайне разнообразны. Я думаю, что мы правильно поступим, обозначив этот вид тенденциозного остроумия особым названием. А какое название подходит для этого, выяснится после того, как мы истолкуем некоторые примеры этого вида.

— Я вспоминаю две истории: об обедневшем гурмане, который был застигнут при поедании «семги с майонезом», и о пьянице-учите-ле. Мы их изучили как софистические остроты, возникшие путем передвигания. Я продолжаю их толкование. Мы уже слышали с тех пор, что если видимость логичности относится к фасаду истории, то мысли (скрывающиеся за фасадом) хотели бы серьезно сказать: этот человек прав. Но в силу возникающего противоречия они не решаются признать за человеком правоту иначе, чем в одном пункте, в котором нетрудно доказать его неправоту. Избранная «острота» становится настоящим компромиссом между его правотой и неправотой. Это, конечно, не является решением вопроса, но соответствует конфликту в нем самом. Обе истории просто носят эпикурейский характер. Они говорят: «Да, этот человек прав. Нет ничего более важного, чем наслаждение, и совершенно безразлично, каким образом люди доставляют его себе». Но это звучит ужасно безнравственно и фактически это не совсем хорошо. Но в основе его лежит ничто иное, как «*Сагре диём*» поэтов, которые ссылаются на непрочность жизни и на бесплодность добродетельного отречения от мирских благ. Если на нас так отталкивающе действует идея, что человек в остроте «о семге с майонезом» должен быть прав, то это происходит только из-за иллюстрации истины наслаждениями низшего рода, что кажется нам совершенно излишним. В действительности, у каждого из нас были минуты и целые периоды в жизни, когда мы признавали за этой жизненной философией ее права и ставили на вид моральному учению, что оно умеет только требовать, не давая никакого вознаграждения. Теперь мы больше не верим в ссылки на потусторонний мир, где вознаграждается всякий отказ от земных радостей. (Впрочем, в нашем мире очень мало набожных людей, если за отличительную черту верования принять отречение от мирских благ.) И сейчас «*Сагре диём*» («Лови день») стало серьезным лозунгом. Я охотно отсрочил бы удовольствие, но разве я знаю, буду ли я завтра еще в живых?

«*Di doman' поп с'è certezza*» (Лоренцо Медичи).

Я охотно откажусь от всех запрещенных обществом путей получения удовольствия, но уверен ли я, что общество вознаградит меня за это отречение от мирских благ, открыв мне — хотя бы с некоторой отсрочкой — один из дозволенных путей к наслаждению? Можно громко сказать то, о чем шепчут эти остроты: желания и страсти человека имеют право на то, чтобы и им внимали наряду с взыскательной и беспощадной моралью. И в наши дни было сказано убедительно и проникновенно, что эта мораль является только корыстолюбивым предписанием немногих богачей и сильных мира сего, которые могут в любой момент без отсрочки удовлетворять свои желания. Пока медицина не научилась обеспечивать нашу жизнь и пока социальные установления не направлены на то, чтобы она складывалась более радостно, до тех пор не может быть задушен в нас голос, протестующий против требований морали. Каждый честный человек сделает в конце концов эту уступку, по крайней мере для себя. Разрешение конфликта возможно лишь окольным путем с помощью нового рассуждения. Нужно свою жизнь так связать с другой, уметь так тесно идентифицировать себя с другим человеком, чтобы можно было преодолеть недолговечность своей собственной жизни. Нельзя незаконно удовлетворять собственные нужды. Их нужно оставлять неисполненными, так как только большое число неудовлетворенных требований может развить силу, необходимую для изменения общественного строя. Однако не все личные потребности могут быть подвергнуты такому передвиганию и перенесены на других людей, и потому полного и окончательного разрешения конфликта нет.

Мы знаем теперь, как нужно назвать эти последние истолкованные нами остроты: это циничные остроты; а то, что за ними скрывается, — это цинизм.

Среди институтов, на которые нападает циничная острота, ни один не охраняется более серьезно и более настойчиво моральными предписаниями, чем институт брака. Тем не менее ни один не является столь заманчивым для нападения большинства циничных острот. Никакое посягательство не задевает так личность, как посягательство на сексуальную свободу, и нигде культура не пыталась произвести такое давление, как в области сексуальности. Для наших целей достаточен один-единственный пример: упомянутая ранее «Запись в родовую книгу принца Карнавала»:

«Жена — как зонтик; но в случае необходимости все же прибегают к услугам более комфортабельным».

Сложную технику этого примера мы уже обсудили: смущающее из-за своей непонятности, по-видимому, невозможное сравнение, которое, как мы теперь видим, само по себе неостроумно; далее намек (комфортабельность приравнивается к общественному экипажу) и, как самый сильный технический прием, — пропуск, делающий остроту еще непонятнее. Сравнение нужно было бы провести в следующем виде. Женятся для того, чтобы оградить себя от искушений чувственности. А затем оказывается все-таки, что брак не дает удовлетворения одной наиболее сильной потребности. Это подобно тому, когда берут с собой зонтик, чтобы защитить себя от дождя, и тем не менее моknут, когда идет сильный дождь. В обоих случаях нужно искать более сильной защиты, какую в случае с дождем является общественный экипаж, а в семейной жизни — доступные за деньги женщины. Теперь острота почти целиком заменена цинизмом. Что брак не является институтом, удовлетворяющим сексуальность мужчины, не решаются сказать громко и открыто, если к этому не вынуждает любовь к истине и страстное желание реформы в духе Христиана фон Эренфельса⁵⁵. Сила остроты заключается в том, что она, хотя и окольными путями, все-таки сказала это.

Для тенденциозной остроты представляется особенно благоприятный случай, когда критика протеста направляется на собственную личность. Осторожнее говоря, на сообщество, к которому принадлежит и личность человека, создающего остроту; то есть, на собирательную личность; например, на свой народ. Это условие самокритики может нам объяснить, почему именно на почве еврейской народной жизни выросло большое число удачных острот, из которых мы привели здесь достаточное число примеров. Это истории, созданные евреями и высмеивающие своеобразные черты еврейского характера. Остроты, созданные неевреями о евреях, в большинстве случаев являются плоскими шутками, в которых острота происходит за счет того, что нееврей относится к еврею, как к комической фигуре. Остроты о евреях, созданные евреями, тоже допускают такой прием. Но они знают свои истинные недостатки, равно как и связь их с положительными чертами национального характера. И участие собственной личности в порицании своих же слабостей создает трудно поддающиеся изображению субъективные условия работы остроумия. Впрочем, я не знаю, часто ли случается, чтобы народ в такой мере смеялся над своими слабостями.

В качестве примера я могу указать на упомянутую историю о том, как еврей в вагоне железной дороги тотчас перестает соблюдать все правила приличного поведения, после того как узнает в человеке, вошедшем в купе, своего единоверца. Мы изучили эту остроту, как доказательство наглядного пояснения при помощи детали, изображение при помощи мелочи. Она должна изображать демократический образ мышления евреев, которые не видят большой разницы между господами и рабами. К сожалению, это ослабляет дисциплину и взаимные контакты между людьми. Другой, особенно интересный ряд острот изображает взаимоотношения между бедным и богатым евреем. Героями этих острот являются проситель и благотворитель — хозяин дома или барон.

⁵⁵ См. его статьи в *Politisch-Anthropologischen. Revue* II, 1903.

«Проситель, которого принимали в гости каждое воскресенье в одном и том же доме, появляется однажды в сопровождении неизвестного молодого человека, который тоже намеревается сесть за стол к обеду. «Кто это? — спрашивает хозяин дома и получает ответ: «С прошлой недели это мой зять. Я обещал содержать его в течение первого года».

Тенденция этих историй все одна и та же; она выступает отчетливее всего в следующей истории.

«Проситель обращается к барону за деньгами для поездки на курорт Остенде, потому что врач, выслушав его жалобы, предписал ему курорт. Барон находит, что Остенде очень дорогое местопребывание; более дешевый курорт принесет ту же пользу. Проситель отклоняет это предложение следующими словами: «Господин барон, для моего здоровья нет ничего, что было бы дорого».

Это великолепная острота, созданная путем передвижения, которую мы могли бы взять за образец этого вида остроумия. Барон, очевидно, хочет сэкономить свои деньги. Проситель же отвечает так, будто деньги барона — это его собственные деньги, ценность которых для него, конечно, меньше, чем его здоровье. Дерзость этого требования вызывает у нас смех. Но всё эти остроты, за некоторым исключением, не снабжены фасадом, который мешал бы их правильному пониманию. Истина скрывается за тем, что проситель, который мысленно обращается с деньгами богача, как со своими собственными, на самом деле почти имеет право по священным заповедям евреев на такое суждение. Протест, создавший эту остроту, направлен, разумеется, против закона, тяжело обременяющего даже набожного человека.

Другая история.

«Проситель встречает на лестнице в доме одного богатого человека своего товарища по ремеслу, который не советует ему навещать сегодня хозяина. «Не хода сегодня наверх. Барон не в духе и никому не дает больше одного гульдена». «Я все-таки пойду, — говорит первый проситель. — Почему я должен дарить ему этот один гульден? Разве он мне что-нибудь дарит?»

Эта острота использует технику бессмыслицы, заставляя просителя утверждать, что барон ему ничего не дарит в тот момент, когда он собирается выпросить у него подарок. Но эта бессмыслица только кажущаяся. Почти невероятно, что богатый не дарит ему ничего, так как закон обязует богатого дать ему милостыню. И, строго говоря, богатый должен быть благодарен, что проситель доставляет ему случай оказать благодеяние. Обыденное мещанское понимание милостыни находится в противоречии с религиозным. Оно открыто возмущается религиозным в другой истории с бароном, который, будучи глубоко тронут рассказом просителя о его страданиях, бранит своего лакея: «Выкиньте его вон: он действует мне на нервы». Это открытое изложение тенденции создает опять пограничный случай остроты. От совсем неостроумной жалобы «В действительности нет никакого преимущества быть богатым среди евреев, так как чужое страдание не позволяет наслаждаться собственным счастьем» — эти последние истории переходят для более наглядного пояснения почти исключительно к отдельным ситуациям.

Другие истории свидетельствуют о глубоком пессимистическом цинизме. Они опять-таки являются в техническом отношении пограничными случаями остроумия, как, например, нижеследующая.

«Глухой обращается за советом к врачу, который ставит правильный диагноз: пациент, вероятно, пьет слишком много водки и поэтому глух. Врач советует больному не делать этого впредь, глухой обещает принять во внимание этот совет. Спустя некоторое время врач встречает его на улице и громко спрашивает, как идут его дела. «Благодарю вас, — звучит ответ, — вам не нужно так кричать, г. доктор. Я отказался от пьянства и опять слышу хорошо». Спустя некоторое время они опять встречаются. Доктор спрашивает обычным голосом о состоянии его здоровья, но он замечает, что его не понимают. «Как? Что?» — «Мне кажется, что вы опять пьете водку, — кричит ему доктор в ухо, — и потому опять не слышите». «Вы правы, — отвечает глухой. — Я опять начал пить водку, но я хочу объяснить вам почему. Покуда я не пил, я слышал; но все, что я слышал, было не так хорошо, как

водка».

В техническом отношении эта острота не что иное, как наглядное пояснение. Жаргон, искусство рассказывать должны служить для того, чтобы вызывать смех. Но за этим нас подкарауливает печальный вопрос: не прав ли этот человек, сделав такой выбор?

То, на что намекают все эти пессимистические истории, — это разнообразное безнадежное состояние еврея. В силу этого я должен причислить их к тенденциозной остроте.

Другие в подобном же смысле циничные остроты, и не только еврейские истории, нападают на религиозные догмы и даже на веру в бога. История о «взгляде раввина», техника которой состояла в ошибочности сопоставления фантазии и действительности (трактовка этой техники как передвигания тоже была бы правильна), является такой циничной или критической остротой, направленной против чудотворцев и, конечно, против веры в чудесное. Гейне, лежа на смертном одре, создал одау прямо-таки святотатственную остроту.

«Когда дружески настроенный пастор сослался на божью милость и указал ему, что он может надеяться на то, что найдет у бога прощение всех своих грехов, то Гейне ответил: «Конечно, он меня простит. Ведь это его ремесло». Это унижительное сравнение, имеющее в техническом отношении только ценность намека, так как ремесло (дело или призвание) имеет только ремесленник или врач, и имеет только одно-единственное ремесло.

Сила этой остроты заключается в ее тенденции. Она как бы говорит: конечно, бог мне простит, для этого он и существует, я его создал себе именно для этой цели (как имеют своего врача, своего адвоката). И в Гейне, бессильно лежавшем на смертном одре, живо было еще сознание того, что создал себе бога и наделил его могуществом, чтобы при случае воспользоваться его услугами. Нечто вроде творчества дало знать о себе еще незадолго до его гибели как творца.

К обсуждавшимся до сих пор трем видам тенденциозного остроумия — обнажающему или скабрезному, агрессивному (враждебному), циничному (критическому, святотатственному) — я хотел бы присоединить еще четвертый, самый редкий вид, характер которого стоит наглядно показать на хорошем примере.

«Два еврея встречаются на галицийской станции в вагоне железной дороги. «Куда ты едешь?» — спрашивает один. «В Краков», — отвечает другой. — «Какой же ты лгун! — вспылil первый. — Когда ты говоришь, что едешь в Краков, то ведь хочешь, чтобы я подумал, что ты едешь в Лемберг. А теперь я знаю, что ты действительно едешь в Краков. Почему же ты лжешь?»

Эта ценная история, которая производит впечатление чрезвычайной софистики, оказывает свое действие, очевидно, при помощи техники бессмыслицы. Второго еврея упрекают в лживости, так как он сообщил, что едет в Краков и это действительно так! Этот сильный технический прием (бессмыслица) сопряжен здесь с другим техническим приемом — изображением при помощи противоположности. Действительно, согласно бесспорному утверждению первого другой лжет, когда говорит правду, и говорит правду при помощи лжи. Но более серьезным содержанием этой остроты является вопрос об условиях правды: острота намекает на проблему и пользуется для этого ненадежностью одного из самых употребительных у нас понятий. Будет ли правдой, если человек описывает вещи такими, какие они есть, и не заботится о том, как слушатели воспримут сказанное? Или это только иезуитская правда? И не состоит ли истинная правдивость скорее в том, чтобы принять во внимание особенности слушателя и помочь ему получить верное восприятие рассказываемого? Я считаю остроты этого рода достаточно отличными от других, чтобы отвести им особое место. То, на что они нападают, является не личностью или институтом, а надежностью нашего познания — одного из наших спекулятивных достояний. Термин «скептические» остроты будет, таким образом, для них подходящим.

В ходе наших рассуждений о тенденциях остроумия мы, быть может, получили некоторые разъяснения и, конечно, нашли множество побуждений к дальнейшим

исследованиям. Но результаты этой главы соединяются с результатами предыдущей в одну трудную проблему. Если верно, что удовольствие, доставляемое остроумием, происходит, с одной стороны, за счет техники, и с другой — за счет тенденции, то с какой же общей точки зрения можно объединить два этих столь различных источника удовольствия от остроумия?

Синтетическая часть

III. Механизм удовольствия и психогенез остроумия

Из каких источников вытекает своеобразное удовольствие, доставляемое нам остроумием, — это мы предполагаем уже достоверно нам известным. Мы знаем, что можем быть обмануты и можем заменить удовольствие, доставленное нам содержанием мыслей, собственно удовольствием от остроумия. Но это последнее имеет, по существу, два источника: технику и тенденции остроумия. Теперь мы хотели бы узнать, каким образом из этих источников вытекает удовольствие, то есть найти механизм действия удовольствия.

Нам кажется, что искомое объяснение гораздо легче получить при тенденциозной остроте, чем при безобидной. Итак, мы начнем с первой.

Удовольствие от тенденциозной остроты получается в результате того, что удовлетворяется тенденция, которая в противном случае не была бы удовлетворена. Что такое удовлетворение является источником удовольствия, это не нуждается ни в каком дальнейшем доказательстве. Но тот способ, с помощью которого остроумие реализует это удовлетворение, связан с особыми условиями, из которых возможно извлечь дальнейшее разъяснение. Здесь следует различать два случая. Более простой случай — это тот, когда на пути к удовлетворению тенденции стоит внешнее препятствие, которое человек обходит при помощи остроты. Мы нашли это, например, в ответе, полученном светлейшим князем на вопрос, жила ли когда-либо мать спрашиваемого в его резиденции. Или в выражении критика, которому два богатых мошенника показали свои портреты: *And where is the Saviour?* В первом случае тенденция клонилась к тому, чтобы возразить на ругательство ругательством; в другом случае — к тому, чтобы нанести оскорбление, вместо того чтобы дать требуемый отзыв. Здесь противодействие оказывают чисто внешние моменты: те лица, к которым относятся ругательства, обладают властью. Все-таки нам может броситься в глаза, что эти и аналогичные им остроты тенденциозной природы хотя и удовлетворяют нас, однако не в состоянии вызвать сильный смехотворный эффект.

Иначе обстоит дело, когда на пути к прямому осуществлению тенденции стоят не внешние моменты, а внутренние препятствия; когда внутреннее побуждение противоречит тенденции. Это условие как бы осуществляется, согласно нашему предположению, в агрессивных остротах господина N., у которого сильная склонность к брани подавлялась высокоразвитой эстетической культурой. С помощью остроумия внутреннее сопротивление для этого частного случая было преодолено, задержки были упразднены. Поэтому, как и в случае внешнего препятствия, стало возможным удовлетворение тенденции, было избегнуто подавление и связанная с ней «психическая запруда». Механизм развития удовольствия в обоих случаях один и тот же.

Мы, конечно, чувствуем на этом месте желание подробнее вникнуть в различие психологической ситуации для случая внешнего и внутреннего препятствия, так как нам представляется возможным, что в результате упразднения внутреннего препятствия можно получить гораздо более интенсивное удовольствие. Но я предлагаю довольствоваться малым и удовлетвориться пока выяснением одного момента, который остается для нас существенным. Случаи внешнего и внутреннего препятствия отличаются только тем, что в первом упраздняется существующая уже наготове задержка, а во втором избегается создание новой задержки. Мы думаем, что не заслужим упрека в спекулятивном мышлении, утверждая, что как для создания, так и для сохранения психической задержки требуется

«психическая затрата». Если оказывается, что в обоих случаях применения тенденциозной остроты целью является получение удовольствия, то уместно предположить, что оно соответствует экономной психической затрате.

Таким образом, мы опять наткнулись на принцип экономии, который встретили в технике словесной остроты. Но там мы, прежде всего, думали найти экономию в потреблении по возможности или меньшего числа слов, или одних и тех же слов. Здесь же нам чужда гораздо более объемлющий смысл экономии психической затраты, и мы должны считать, что можно подойти ближе к сущности остроумия через более точное определение пока очень неясного понятия «психической затраты».

Некоторая неясность, которую мы не могли преодолеть при обсуждении механизма удовольствия, получаемого от тенденциозной остроты, является для нас небольшим наказанием за то, что мы пытались выяснить более сложное раньше, чем более простое, — тенденциозную остроту раньше, чем безобидную. Мы замечаем, что экономия затраты энергии, расходуемой на задержки или подавление, оказывается тайным источником действия удовольствия, получаемого нами от тенденциозной остроты, и обращаемся к механизму удовольствия при безобидной остроте.

Из соответствующих примеров безобидных остроумий, относительно которых нам нет нужды бояться нарушения нашего мнения о них из-за содержания или тенденции, мы должны сделать заключение, что технические приемы остроумия сами являются источником удовольствия, и хотим теперь проверить, можно ли свести это удовольствие к экономии психической затраты. В одной группе этих остроумий (игре слов) техника состояла в том, что наша психическая установка направлялась на созвучие слов вместо смысла слов, что мы ставили акустическое изображение слова на место его значения, данного отношением к предметным представлениям. Мы действительно можем предположить, что этим дано большое облегчение психической работе и что при серьезном употреблении слов нужно сильно напрягать свое внимание, чтобы удержаться от этого удобного приема. Мы можем наблюдать, что болезненные состояния мыслительной деятельности, при которых, вероятно, ограничена возможность концентрировать на одном месте психические затраты, действительно выдвигают на первый план представление о созвучии слов такого рода (в сравнении со значением слов) и что такие больные в своих речах следуют, как говорит формула, «внешним» (вместо «внутренним») ассоциациям в представлениях о словах. Также и у ребенка, который привык еще трактовать слова как вещи, мы замечаем склонность искать за тождественным или сходным текстом тождественный смысл — склонность, которая становится источником многих ошибок, вызывающих смех взрослых. Если нам в остроумии доставляет несомненное удовольствие переход из одного круга представлений в другой (как при Home-Roulard из области кухни в область политики) употреблением одного и того же или сходного слова, то это удовольствие нужно, конечно, по праву свести к экономии психической затраты. Удовольствие от остроумия, вытекающее из такого «короткого замыкания», оказывается также тем больше, чем более чуждыми являются друг другу оба круга представлений, приведенные в связь тождественным словом; чем дальше они лежат друг от друга; чем больше, следовательно, удастся сэкономить мысленный путь благодаря техническому приему остроумия. Заметим, кроме того, что острота пользуется здесь приемом установления связи, которая отбрасывается и тщательно избегается серьезным мышлением⁵⁶.

Вторая группа технических приемов остроумия — унификация, созвучие, многократное употребление, модификация известных оборотов речи, намек на цитату — позволяет отметить как общую характерную черту тот факт, что каждый раз находят вновь

⁵⁶ Выясненная здесь разница совпадает с нижеприведенным отделением шутки от остроты. Но было бы неправильно, если бы мы исключили такие примеры, как Home-Roulard из обсуждения вопроса о природе остроумия. Принимая во внимание своеобразное удовольствие от остроты, мы находим, что «неудачные» остроты отнюдь не неудачны как остроты, то есть не неспособны доставить удовольствие.

нечто известное там, где вместо него можно было бы ожидать что-то новое. Эта возможность вновь обрести нечто известное исполнена удовольствия. Нам опять-таки нетрудно видеть в нем удовольствие от экономии и отнести его к экономии психической затраты.

Общепризнанным является, по-видимому, тот факт, что новое нахождение известного, «опознание» его, исполнено удовольствия. Гроос⁵⁷ говорит: «Опознание повсюду, где оно не слишком механизировано (как, например, при одевании, где...), связано с чувством удовольствия. Один только признак известного легко сопровождается уже тем тихим удовольствием, которое испытывает Фауст, когда вновь вступает после жуткой встречи в свой кабинет»... «Если самый акт опознания возбуждает такое удовольствие, то мы можем ожидать, что человек постарается упражнять эту способность ради нее самой, следовательно — экспериментировать, играя ею. И действительно, Аристотель усматривает в радости от опознания основу художественного наслаждения, и следует признать, что этот принцип нельзя игнорировать, хотя он и не имеет такого большого значения, как полагает Аристотель».

Гроос обсуждает затем игры, характерная черта которых состоит в повышении удовольствия от опознания, потому что на пути к нему воздвигают препятствия, следовательно — создают «психическую запруду», которая устраняется актом познания. Но его попытка объяснения не принимает во внимание тот факт, что познание само по себе исполнено удовольствия, в то время как он, ссылаясь на эти игры, учитывает удовольствие от познания радости силы (*die Freude an der Macht*), как преодоление трудности. Я считаю этот последний момент вторичным и не вижу никаких причин уходить от более простого понимания, согласно которому познание само по себе, то есть из-за уменьшения психической затраты, исполнено удовольствия, а основанные на этом удовольствии игры пользуются лишь механизмом запруды, чтобы повысить свою ценность.

Общеизвестно, что рифма, аллитерация, припев и другие формы повторения подобных созвучных слов в поэзии пользуются тем же самым источником удовольствия — новым открытием известного. «Чувство силы» не играет значительной роли при этих технических приемах, являющих собою такую полную аналогию с «многократным употреблением».

При том близком отношении, какое существует между опознанием и воспоминанием, мы можем без риска утверждать, что существует также удовольствие от воспоминания. То есть акт воспоминания сопровождается сам по себе чувством удовольствия подобного же происхождения. Гроос, по-видимому, не склоняется к такому предположению, но он считает удовольствие от воспоминания производным опять-таки чувства силы, в котором он ищет — на мой взгляд неправильно — главную основу наслаждения при всех почти играх.

На «новом открытии известного» основано также применение другого технического вспомогательного приема остроумия, о котором до сих пор не было речи. Я имею в виду момент актуальности, являющийся при очень многих островах обильным источником удовольствия и объясняющий некоторые особенности генезиса и существования остроумия. Есть остроумия, которые совершенно свободны от этого условия, и в работе об остроумии мы вынуждены пользоваться почти без исключения такими примерами. Но мы не можем забыть о том, что мы, быть может, еще сильнее смеялись по поводу некоторых других остроумий, чем по поводу подобных долговечных остроумий. При этом употребление остроумий первого рода (недолговечных) было для нас труднее, так как они требовали долгих комментариев, и даже с помощью этих комментариев они не могли достигнуть определенного эффекта. Эти остроумия содержат намеки на людей и на события, которые были актуальны в то время, вызвали всеобщий интерес и держали всех в напряжении. После того как этот интерес угасает и соответствующее происшествие исчерпано, эти остроумия лишаются части своего воздействия в смысле удовольствия (*Lustwirkung*), и нередко очень значительной части. Например, остроумия, созданная моим дружественным, гостеприимным хозяином, когда он назвал

⁵⁷ «Die Spiele des Menschen», 1899.

розданное мучное блюдо «Home-Roulard», кажется мне теперь не столь удачной, как тогда, когда Home-Rule был постоянной рубрикой в политическом отделе наших газет. Если я попытаюсь теперь оценить достоинство этой остроты указанием на то, что одно это слово перевело нас с большой экономией окольного мысленного пути из круга представлений кухни в столь отдаленный от него круг политических представлений, то я должен был бы изменить это указание в том смысле, «что это слово переводит нас из круга представлений кухни в столь отдаленный от него круг политических представлений, который вызывал наш оживленный интерес, так как он все время занимал нас». Другая острота — «Эта девушка напоминает мне Дрейфуса; армия не верит в ее невинность» — в настоящее время как будто утратила свою яркость, хотя ее технические приемы остались неизменными. Смущение, вызываемое этим сравнением, и двоякое толкование слова «невинность» не могут искупить того, что этот намек на событие, к которому относились с живейшим возбуждением, напоминает теперь о происшествии, интерес к которому иссяк. Следующая острота тоже может служить примером актуальной остроты.

«Кронпринцесса Луиза обратилась с запросом в крематорий в Готе, сколько стоит сожжение покойника. Управление ответило: «Сожжение стоит 5000 марок, но ей насчитают только 3000 марок, так как она один раз уже перегорела».

Эта острота кажется для настоящего времени неудачной. Одно время ее оценивали очень высоко. Но некоторое время спустя, когда ее нельзя рассказать без комментария о том, кто такая была принцесса Луиза и как следует понимать ее «горение», острота, несмотря на отличную игру слов, теряет свой эффект.

Большое число находящихся в обращении острот имеет определенную длительность существования, собственно — определенный срок жизни, слагающийся из периода расцвета и периода упадка и оканчивающийся полным забвением. Потребность людей извлекать удовольствие из мыслительных процессов создает затем все новые остроты, опираясь на новые злободневные интересы.

Жизненная сила актуальных острот отнюдь не принадлежит им самим. Она заимствуется с помощью намека у других интересов, степень актуальности которых определяет и судьбу самой остроты. Момент актуальности, присоединявшийся как особенно обильный, хотя и непостоянный источник удовольствия к собственным источникам остроумия, не может быть просто сопоставлен с новым применением уже известного. Речь может идти скорее об особой квалификации известного, которому должно принадлежать свойство свежего, недавнего, нетронутого забвением. При образовании сновидения тоже приходится встречаться с особым предпочтением, которое оказывается свежему материалу. И нельзя не предположить, что ассоциация со свежим материалом вознаграждается своеобразным удовольствием и, таким образом, облегчается создание новой остроты.

Унификация, которая является, собственно, только повторением в области связи, существующей между определенными мыслями, вместо повторения материала, нашла себе у Г.Т. Фехнера особую оценку в качестве источника удовольствия, доставляемого остроумием. Фехнер говорит (*Vorschule der Aesthetik I, XVII*): «На мой взгляд, в поле зрения, которое мы имеем перед собой, главную роль играет принцип объединенной связи разнообразного материала. Но он нуждается в подкрепляющих побочных условиях, чтобы увеличить, благодаря своему своеобразному характеру, размеры того удовольствия, которое могут доставить относящиеся сюда случаи»⁵⁸.

Во всех этих случаях наблюдается повторение одной и той же связи или одного и того же словесного материала, нового открытия известного и свежего. И нам отнюдь не возбраняется испытывать при этом удовольствие от экономии психической затраты, если эта точка зрения оказывается весьма пригодной для объяснения отдельных деталей и для новых

⁵⁸ Глава XVII озаглавлена: «Об остроумных и метких сравнениях, игре слов и других случаях, имеющих характер забавного, веселого, смешного».

обобщений. Мы знаем, что нам еще предстоит точное выяснение того способа, с помощью которого осуществляется эта экономия, и смысла выражения «психическая затрата».

Третья группа психических приемов остроумия — это в большинстве случаев остроты по смыслу. Она включает ошибки мышления, передвигание, бессмыслицу, изображение при помощи противоположного и др. На первый взгляд она как будто носит особый отпечаток и не обнаруживает ничего общего с техническими приемами нового открытия известного или замены предметных ассоциаций словесными ассоциациями. Тем не менее именно в данном случае очень легко показать точку зрения об экономии или уменьшении психической затраты.

Вообще, не подлежит сомнению, что легче и удобнее уклоняться от избранного мысленно пути, чем придерживаться его; легче сваливать в одну кучу противоположные понятия, чем противопоставлять их; что особенно удобно принимать отбрасываемые логикой умозаключения и не принимать во внимание при сочетании слов или мыслей условие, которое должно также придать смысл сказанному. А именно это делают те технические приемы остроумия, о которых идет речь. Но эта постановка вопроса вызовет удивление тем, что такой образ действия работы остроумия является источником удовольствия, так как, при всех подобных недочетах мыслительной деятельности, вне остроумия мы испытываем только неприятное чувство отталкивания от них.

«Удовольствие от бессмыслицы», как мы могли бы коротко сказать, в действительной жизни скрыто вплоть до полного его исчезновения. Чтобы доказать его, мы должны подробно рассмотреть два случая, в которых оно очевидно в настоящее время и всегда будет очевидно: поведение ребенка и поведение взрослого в настроении, измененном под влиянием интоксикации. В то время, когда ребенок учится владеть запасом слов родного языка, ему доставляет очевидное удовольствие «играя экспериментировать» (Гроос) этим материалом. Он соединяет слова, не связывая этого соединения со смыслом слов, чтобы достигнуть эффекта удовольствия, получаемого от их ритма или рифмы. Это удовольствие ему постепенно воспрещается и, наконец, ему остается дозволенной лишь имеющая смысл связь слов. В более позднем возрасте эти стремления невольно ищут выхода из заученных ограничений в употреблении слов путем их искажения определенными надстройками и изменения их формы некоторыми приемами (редупликация, дрожащая речь), или даже создается свой собственный язык для использования среди товарищей по игре. Стремления эти впоследствии вновь всплывают на поверхность у душевнобольных некоторых категорий.

Я полагаю, что это является постоянным мотивом, которому следует ребенок, начиная такого рода игры. В дальнейшем развитии он предается им уже с сознанием того, что они бессмысленны, и находит удовольствие в этой прелести запрещенного разумом. Он пользуется игрой для того, чтобы избежать гнета критического разума. Но гораздо сильнее те ограничения, которые при воспитании касаются правильного мышления и обособления действительно существующего от ложного. Потому протест против принуждения к мышлению и к реальности глубок и длится долго; даже феномены фантастической деятельности подпадают под эту точку зрения. Сила критики в позднейшем периоде детства и в период обучения, простирающемся за пределы зрелости, в большинстве случаев оказывается настолько возросшей, что удовольствие от «бессмыслицы, освобожденной от гнета и критики», только в редких случаях рискует проявиться в прямом виде. Человек не решается высказать бессмыслицу, но характерная для ребенка склонность к бессмысленному, нецелесообразному поведению оказывается прямой производной удовольствия от бессмыслицы. В патологических случаях можно легко заметить, что эта склонность настолько усилилась, что опять управляет разговором и ответами гимназистов, подобно тому как это было в детстве. Осмотр некоторых заболевших неврозом гимназистов позволил мне убедиться, что бессознательно действующее удовольствие, испытываемое от продуцированной ими бессмыслицы, принимало не меньшее участие в их ошибочных действиях, чем истинное незнание.

И студент впоследствии не отказывается продемонстрировать протест против

принуждения к мышлению и к реальности. Власть этого принуждения, как он чувствует, становится все более нетерпимой и все более неограниченной. Этим объясняется добрая часть студенческих кутежей. Человек является «неутомимым искателем удовольствия» (я уже не помню, у какого автора нашел это счастливое выражение) и ему очень тяжело отказаться от вкушенного однажды удовольствия.

Веселой бессмыслицей пьяной болтовни студент пытается спасти для себя удовольствие, которое он получает от свободы мышления и которое становится для него все более недоступным из-за влияния университетских лекций. Даже еще позднее, когда он, будучи зрелым человеком, встречается с другими зрелыми людьми на научном конгрессе и опять чувствует себя учеником, то «банкетная газета» после окончания заседания, которая карикатурно превращает новые открытия в бессмыслицы, должна вознаградить его за новые прибавившиеся задержки мышления.

Словосочетания «пьяная болтовня» и «банкетная газета» дают доказательства того, что критика, вытеснившая удовольствие от бессмыслицы, стала уже достаточно сильной и не может быть даже временно устранена без токсического вспомогательного действия. Изменение настроения является самым ценным, что доставляет человеку алкоголь и в силу чего этот «яд» не для каждого является одинаково ненужным. Веселое настроение, эндогенно возникшее или токсически вызванное, уменьшает задерживающие силы и скрытую за ними критику и делает, таким образом, вновь доступными источники удовольствия, над которыми тяготел запрет. Чрезвычайно поучительно видеть, как с подъемом настроения уменьшаются претензии на остроумие. Расположение духа заменяет остроумие, равно как остроумие должно стремиться заменить собой расположение духа, в котором проявляются прежде запрещенные возможности наслаждения и скрытое за ними удовольствие от бессмыслицы.

«Mit wenig Witz und viel Behagen» («Мало остроумия и много веселья»).

Под влиянием алкоголя взрослый человек опять превращается в ребенка, которому доставляет удовольствие свободное распоряжение течением своих мыслей без необходимости соблюдать логическую связь.

Надеюсь, мы также доказали, что эти технические приемы острот-бессмыслиц соответствуют источнику удовольствия. Нам остается только повторить, что это удовольствие проистекает от экономии психической затраты, от уменьшения гнета критики.

Бросив еще раз взгляд назад на обособленные в три группы технические приемы остроумия, мы замечаем, что первая и третья из этих групп (замена предметных ассоциаций словесными ассоциациями и употребление бессмыслицы для воссоздания старых свобод и избавления от гнета интеллектуального воспитания) могут быть объединены. Это психические облегчения (Erleichterungen), которые можно до некоторой степени противопоставить экономии, составляющей технику второй группы. К облегчению уже существующей и экономии предстоящей психической затраты — к этим двум принципам сводится, таким образом, вся техника остроумия и вместе с тем все удовольствие, проистекающее от этих технических приемов. Впрочем, оба этих вида техники и получение удовольствия совпадают — по крайней мере, в главных чертах — с разделением остроумия на словесные остроты и остроты по смыслу.

Предшествующие рассуждения привели нас внезапно к истории развития или психогенезу остроумия. Теперь мы хотим подойти к нему ближе. Мы изучили предварительные ступени остроумия, развитие которых вплоть до тенденциозного может открыть, вероятно, новые взаимоотношения между различными характерными чертами остроумия. Перед каждой остротой существует нечто, что мы могли бы обозначить как игру или шутку. Игра — мы будем придерживаться этого наименования — происходит у ребенка в то время, когда он учится употреблять слова и присоединять мысли одна к другой. Эта игра следует, вероятно, одному из влечений, которые вынуждают ребенка к упражнению своих способностей (Гроос). Он наталкивается при этом на действие удовольствия, которое проистекает от повторения сходного, от нового открытия известного, от созвучности и т. д. и

которое объясняется как неожиданная экономия психической затраты. Нечего удивляться тому, что эффекты удовольствия поощряют ребенка к игре и побуждают его продолжить эти эффекты, не обращая внимания на значение слов и на связь предложений. Игра словами и мыслями, мотивируемая определенными эффектами удовольствия от экономии, является, таким образом, первой предварительной ступенью остроумия.

Усиление момента, который заслуживает названия критического отношения или разумности, кладет конец этой игре. Она забрасывается как нечто бессмысленное или прямо противоречащее здравому смыслу. Игра становится невозможной из-за критического отношения к ней. При этом исключается всякая возможность (кроме случайной) извлекать удовольствие из источников нового открытия известного ит.д., разве только взрослый приходит в радостное настроение, которое упраздняет критическую задержку подобно веселью ребенка. Хотя в этом случае становится опять возможной старая игра, сопровождающаяся получением удовольствия, но человек не хочет ожидать этого случая и не хочет отказываться от удовольствия, которое он может испытать. Он, следовательно, ищет средства, которые сделали бы его независимым от радостного настроения. Дальнейшее развитие этого процесса в остроумии управляется двумя стремлениями: избежать критики и заменить ею расположение духа.

Этим начинается вторая предварительная ступень остроумия — шутка. Она стремится дать удовольствие, доставляемое игрой, заставив замолчать вместе с тем голос критики, который не позволяет возникнуть чувству удовольствия. К этой цели ведет только один-единственный путь: бессмысленное сопоставление слов или противоречащее здравому смыслу нанизывание мыслей должно все-таки иметь какой-нибудь смысл. Все искусство работы остроумия направлено на то, чтобы найти такие слова и формулировки мыслей, при которых это условие было бы выполнено. Все технические приемы остроумия находят себе применение уже здесь, в шутке, и практика языка, в свою очередь, не отграничивает резко шутку от остроты. Шутка отличается от остроты тем, что в ней смысл ускользнувшей от критики фразы не должен быть ценным, новым или даже просто удачным. Он должен быть выражен именно в таком-то определенном виде, хотя бы это было неупотребительно, излишне и бесполезно. В шутке на первом плане стоит удовлетворение от осуществления того, что запрещено критикой.

Простой шуткой является, например, определение Шлейермахером ревности как страсти, которая ревностно ищет то, что причиняет страдания (*Eifersucht ist Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft*). Шуткой является и следующее восклицание проф. Кёснера, преподававшего физику в Геттингене в XVIII столетии и слывшего остряком. На вопрос о возрасте, заданный им студенту по фамилии Война, он, получив ответ, что студенту 30 лет, воскликнул: «Ах, в таком случае я имею честь видеть тридцатилетнюю войну»⁵⁹. Шуткой ответил Рокитанский на вопрос о том, какие профессии избрали его четыре сына (два врача и два певца): «*Zwei heilen und zwei heulen*» («Двое лечат, а двое воют»). Этот ответ был верен и потому не мог быть оспариваем, но он не прибавил ничего нового к тому, что содержалось в выражении, стоящем в скобках.

Несомненно, что этот ответ принял другую форму только ради удовольствия, вытекающего из унифицирования и созвучия обоих слов.

Я надеюсь, что только что высказанное нами положение стало наконец ясным. В оценке технических приемов остроумия нам всегда мешало то обстоятельство, что они свойственны не одному только остроумию и что, тем не менее, сущность остроумия зависит от них, так как устранение их путем редукции влекло за собой утрату характера остроты и удовольствия от нее. Мы теперь замечаем, что описанное нами как технические приемы остроумия — и в некотором смысле мы должны так продолжать называть их — является скорее источником, из которого остроумие извлекает удовольствие. И мы не удивляемся

⁵⁹ Kleinpaul. «Die Ratsel der Sprache». 1890.

тому, что другие приемы, ведущие к той же цели, пользуются теми же источниками. Свойственная же остроумию и только ему одному присущая техника заключается в способности обеспечивать применение доставляющих удовольствие приемов от возражений критики, которая может испортить удовольствие. Об этой способности мы можем сказать кое-что в общих чертах.

Работа остроумия проявляется, как уже было упомянуто, в выборе такого словесного материала и таких ситуаций мышления, которые позволяют старой игре словами и мыслями выдерживать натиск критики. Для этой цели должны быть использованы все особенности запаса слов и все констелляции связи мыслей для искусного составления текста. Быть может, нам впоследствии придется еще охарактеризовать работу остроумия одним определенным качеством. Пока же остается необъясненным, как может быть сделан выгодный для остроумия выбор. Но если тенденция и работа остроумия заключаются в защите от критики словесных и мыслительных связей, доставляющих удовольствие, то это уже существенная особенность шуток. С самого начала работа остроумия заключается в том, чтобы упразднить внутренние задержки и сделать легкодоступными те источники удовольствия, которые стали недоступными. И мы увидим, что остроумие на протяжении всего своего развития остается отвечающим этой характеристике.

Нам нужно теперь дать правильную оценку и моменту «смысла в бессмыслице», которому авторы придают такое важное значение для характеристики остроумия и для объяснения доставляемого им удовольствия. Два твердо установленных пункта в условности остроумия, его тенденция добиваться исполненной удовольствия игры и его стремление оградить ее от критики разума, объясняют исчерпывающим образом, почему отдельная острота, кажущаяся с одной точки зрения бессмысленной, с другой точки зрения считается глубокомысленной или, по крайней мере, приемлемой. Как острота выполняет эти условия — это уже дело работы остроумия; там, где это ей не удастся, острота отбрасывается как бессмыслица. Но для нас необязательно считать удовольствие от остроумия производным антагонизма чувств, вытекающих из смысла и одновременной бессмысленности остроты, будь то непосредственно или путем «смущения от непонимания и внезапного уяснения». Точно так же для нас не существует необходимости подойти ближе к вопросу, каким образом может вытекать удовольствие из смены оценки бессмыслицы оценкой осмысленности. Психогенез остроумия научил нас тому, что удовольствие от остроты вытекает из игры словами или из раскрепощения бессмыслицы, а смысл остроты предназначен только для того, чтобы защитить это удовольствие от упразднения его критикой.

Такой путь уже на исследовании шуток выясняет проблему сущности характера остроумия. Мы должны обратиться к дальнейшему развитию шуток до ее апогея — тенденциозной остроте. Уже шутка выдвигает на первый план получение нами удовольствия и удовлетворяется тем, что способ ее выражения не кажется нам бессмысленным или лишенным всякого содержания. Когда этот способ сам по себе содержателен и ценен, тогда шутка превращается в остроту. Мысль, которая заслужила бы наше внимание, будучи выраженной в самой простой форме, облачается теперь в такую форму, которая сама по себе может вызвать у нас удовольствие⁶⁰. Конечно, такое соединение формы и содержания осуществляется не без цели. Мы должны так думать и постараться найти цель, лежащую в основе этого образования остроты. Одно наблюдение, сделанное прежде в качестве предварительного, наводит нас на след. Мы выше отмечали, что удачная острота производит

⁶⁰ Примером, выясняющим разницу между шуткой и собственно остротой, является отличная острота, которую член гражданского министерства в Австрии ответил на вопрос о солидарности кабинета: «Как мы можем вносить одинаковые предложения, когда мы не выносим друг друга?» Техника — применение одного и того же материала с незначительной, но противоположной модификацией; правильная и меткая мысль — не существует солидарности без личной симпатии. Противоположность модификаций (вносить — выносить) соответствует разногласию, которое утверждает мысль, и служит ему изображением.

на нас совокупное впечатление приятного, без того чтобы мы различали, какая часть удовольствия проистекает из остроумной формы, а какая — из меткого содержания мысли.

Мы всегда обманываемся относительно этого подразделения. Мы то переоцениваем качество остроты, удивляясь содержащейся в ней мысли; то, наоборот, переоцениваем ценность мысли из-за удовольствия, доставляемого нам остроумной оболочкой. Мы не знаем, что доставляет нам удовольствие, по поводу чего мы смеемся. Эта предполагаемая неуверенность нашего мышления может дать нам повод к образованию остроты в собственном смысле. Мысль ищет остроумную оболочку, так как благодаря ей она обращает на себя наше внимание, может показаться нам более значительной, более ценной; но прежде всего потому, что эта оболочка подкупает и запутывает нашу критику. Мы склонны приписать самой мысли то, что понравилось нам в остроумной форме. Кроме того, мы не имеем больше желания искать неправильное в том, что доставило нам удовольствие, боясь закрыть себе таким образом источник удовольствия. Если острота вызвала у нас смех, то в нас еще создается неблагоприятное для критики предрасположение, так как мы приходим тогда, с некоторой точки зрения, в такое настроение, в каком еще способны удовлетворяться игрой и изменить которое остроумие старалось всеми средствами. Хотя мы прежде установили, что такую остроту нужно назвать безобидной или нетенденциозной, однако мы не можем не признать, что только шутка лишена тенденций, то есть служит только одной цели — доставлять удовольствие. Острота, собственно, никогда не бывает лишена тенденции, даже если содержащаяся в ней мысль сама по себе не тенденциозна и служит, таким образом, теоретическому интересу мышления. Она преследует другую цель: преувеличение мысли, для того чтобы она не осталась незамеченной, и ограждение ее от критики. Она проявляет здесь опять-таки свою первоначальную природу, противопоставляя себя задерживающей и ограничивающей силе, в данном случае — критическому суждению.

Это первое применение остроумия, выходящее за пределы доставления удовольствия, указывает нам дальнейший путь. Острота' оценивается как могущественный психический фактор, вес которого может склонять чашу весов в ту или иную сторону. Важные тенденции и влечения душевной жизни пользуются ею для своих целей. Первоначально лишенная тенденции острота, начавшаяся как игра, приходит вторично в связь с тенденциями, от которых на продолжительное время не может ускользнуть никакое явление душевной жизни. Мы знаем уже, что может сделать острота, обслуживая обнажающую врачебную, циничную, скептическую тенденции. Скабрезная острота с отпечатками сальности делает из третьего участника, первоначально лишнего в сексуальной ситуации, союзника, которого женщина должна стыдиться, а острота подкупает его доставленным ему удовольствием. При агрессивной тенденции она, пользуясь тем же средством, превращает первоначально индифферентного слушателя в сообщника и создает против своего врага целую армию недругов там, где был только один противник. В первом случае она преодолевает только задержки стыда и благопристойности, вознаграждая за это доставляемым ею удовольствием. Во втором случае она побеждает критическое суждение, которое в противном случае выдержало бы сражение. В третьем и четвертом случае, обслуживая циничную и скептическую тенденцию, она стремится поколебать уважение к институтам и истинам, в которые верил слушатель, усиливая, с одной стороны, аргумент, а с другой — употребляя новые приемы нападения. Там, где аргумент старается привлечь критику слушателя на свою сторону, острота стремится устранить ее. Нет сомнения, что острота избрала психологически более действенный путь.

При этом обзоре воздействий тенденциозной остроты для нас на первый план выступило то, что легче всего увидеть: действие остроты на того, кто ее слушает. Для понимания сущности остроумия более важным видится значение остроты в душевной жизни того, кто ее создает, или — как должно единственно правильно сказать — того, кому она приходит в голову. Мы уже однажды возымели намерение — и находим теперь повод возобновить его — изучить психические процессы остроумия, принимая во внимание распределение их между двумя лицами. Предварительно мы высказываем предположение,

что возбужденный остротой психический процесс слушателя, в большинстве случаев, копирует психический процесс автора остроты. Внешнему препятствию, которое должно быть преодолено у слушателя, соответствует внутренняя задержка у того, кто острит. По крайней мере, у последнего существует ожидание внешнего препятствия как тормозящее представление. В отдельных случаях внутреннее препятствие, преодолеваемое тенденциозной остротой, очевидно. Об остротах господина N. мы можем предположить, что они не только создают для слушателей возможность агрессивности из-за оскорблений. Они, прежде всего, делают возможным получение продукции этой агрессивности. Среди различных видов внутренней задержки или подавления один из них заслуживает нашего особого интереса как наиболее распространенный; он носит название «вытеснение». О его работе известно, что оно выключает из сознания подпавшие под его действие побуждения, равно как и производные этих побуждений. Мы услышим, что тенденциозная острота может извлекать удовольствие даже из этих подверженных вытеснению источников. Если, таким образом, как было указано выше, можно свести преодоление внешних препятствий к внутренним задержкам и вытеснениям, то нужно сказать, что тенденциозная острота яснее, чем все ступени развития остроумия, указывает на сущность работы остроумия, заключающуюся в освобождении удовольствия путем устранения задержек. Она усиливает тенденции, которые обслуживает, оказывая им помощь за счет подавленных побуждений или обслуживая вообще подавленные тенденции. Можно охотно признать, что именно это является работой тенденциозной остроты. Однако следует подумать о том, что все-таки непонятно, каким образом ей удастся такая работа. Ее сила заключается в выигрыше удовольствия, которое она извлекает из источников игры словами и освобожденной бессмыслицы. Обсуждая впечатления, полученные от лишенных тенденций шуток, нельзя считать размеры полученного от них удовольствия настолько большими, чтобы можно было приписать им силу, достаточную для упразднения укоренившихся задержек и вытеснений. На самом деле мы имеем перед собой не простое действие силы, а запутанные соотношения освобождения. Вместо того чтобы излагать окольный путь, по которому я пришел к пониманию этого соотношения, я попытаюсь изложить это кратким синтетическим путем.

Г.Т. Фехнер в своей «Vorschule der Aesthetik» («Начальный курс эстетики») (I. Bd., V) установил «принцип эстетической помощи или стимулирования», который он излагает в следующем виде: «Из совпадения противоречивых условий, при которых может быть доставлено удовольствие и которые сами по себе имеют небольшое значение, вытекает большее и часто даже гораздо большее удовольствие, чем то, которое могут вызвать отдельные условия. Это удовольствие больше, чем то, которое можно объяснить суммой единичных влияний. Совпадение такого рода позволяет достигнуть положительного результата и перешагнуть через порог удовольствия в тех случаях, где отдельные факторы слишком слабы для этого, так как только они по сравнению с другими условиями могут показать ощутимую выгоду чувства приятного»⁶¹.

Я думаю, что исследование остроумия дает нам не много моментов, подтверждающих правильность этого принципа, который оказался верным в применении ко многим другим художественным произведениям. При исследовании остроумия мы нашли нечто иное, близко стоящее к этому принципу. А именно: при совместном действии нескольких доставляющих удовольствие факторов мы не можем указать, какая часть результата приходится фактически на долю каждого из них. Но предполагаемую этим «принципом помощи» ситуацию можно варьировать и поставить этим новым условиям целый ряд вопросов, которые заслуживали бы ответа. Что происходит вообще, если в одной констелляции совпадают условия удовольствия с условиями неудовольствия? От чего зависит результат и его закономерность? Тенденциозная острота является частным случаем этих возможностей. Существует побуждение или стремление, которое хочет освободить

⁶¹ С. 51. 2-е издание. Лейпциг, 1897.

удовольствие из определенного источника и которое действительно освобождает его, если ничто не препятствует этому. Кроме того, существует другое стремление, противодействующее этому развитию удовольствия; оно, следовательно, тормозит или подавляет. Подавляющее течение, как показывает результат, должно быть несколько сильнее, чем подавленное, которое все-же не упраздняется.

Теперь присоединяется еще одно стремление, которое освобождает удовольствие из того же процесса, хотя и из других источников; это стремление действует, следовательно, в том же направлении, что и подавленное стремление. Каков может быть результат в данном случае? Пример поможет нам лучше разобраться, чем эта схематизация. Возникло желание выругать кого-нибудь. Но этому настолько мешает чувство приличия, эстетическая культура, что такое желание подавляется. Если бы оно прорвалось, например, из-за аффективного состояния или настроения, то этот прорыв тенденции к ругани стал бы потом источником неудовольствия собою. Итак, ругань подавляется. Но представляется возможность извлечь из материала слов и мыслей, предназначенных для ругательства, удачную остроту, освободить удовольствие из других источников, которым не мешает уже прежнее подавление. Однако это второе развитие удовольствия не могло бы осуществиться, если бы ругательство не было разрешено. Но поскольку оно позволяет, с ним связывается еще новое осуществление удовольствия. Опыт тенденциозной остроты показывает, что при таких обстоятельствах подавленная тенденция может получить силу из удовольствия от остроумия, чтобы преодолеть более сильную задержку. Человек ругается, так как этим осуществляется возможность найти остроту. Но достигнутое чувство приятного вызывается не только за счет остроты. Оно несравненно больше. Оно настолько больше удовольствия от остроумия, что мы должны предположить: подавленной прежде тенденции удалось пробиться почти совсем без ущерба. При таких соотношениях смеются больше всего по поводу тенденциозной остроты.

Быть может, мы путем исследования условий смеха придем к созданию более наглядного представления о процессе помощи, которую оказывает острота в борьбе с подавлением. Но мы и теперь видим, что тенденциозная острота является частным случаем принципа такой помощи. Возможность получения удовольствия присоединяется к ситуации, в которой существует препятствие для другой такой возможности и которая сама по себе не может вызвать удовольствие. Результатом является получение удовольствия, которое гораздо больше, чем удовольствие, привнесенное присоединившейся возможностью. Это последнее действует как заманчивая премия. С помощью преподнесенного небольшого количества удовольствия был получен очень большой объем его, который в противном случае был бы трудно достижим. Я имею основание предположить, что этот принцип соответствует приспособлению, оказавшемуся полезным для многих областей душевной жизни, далеко расположенных друг от друга. Поэтому считаю целесообразным назвать ту часть удовольствия, которая служит для освобождения большого объема удовольствия, предварительным удовольствием, а сам принцип — принципом предварительного удовольствия.

Мы можем теперь дать формулировку механизма действия тенденциозной остроты: она обслуживает тенденции, чтобы, пользуясь удовольствием от остроумия как предварительным удовольствием, доставить новое удовольствие через упразднение подавлений и вытеснений. Если мы проследим развитие тенденциозной остроты, то мы сможем сказать, что она с самого начала до конца остается верной своей сущности. Она начинается как игра, чтобы извлекать удовольствие из свободного применения слов и мыслей. Когда усиление разума запрещает ей эту игру словами, как лишенную смысла, и игру мыслями, как бессмысленную, она обращается к шутке, чтобы удержать эти источники удовольствия и выиграть новое удовольствие из освобождения бессмыслицы. Будучи собственно остротой, еще лишенной тенденции, она оказывает помощь мыслям, повышает их сопротивление нападению критического суждения. При этом принцип смешивания источников удовольствия выгоден для остроты. Она, наконец, присоединяется к сильным

тенденциям, борющимся с подавлением, чтобы упразднить внутренние задержки согласно принципу предварительного удовольствия. Разум, критическое суждение, подавление — вот те силы, с которыми борется по очереди острота. Она прочно удерживает первоначальные словесные источники удовольствия и, начиная со ступени шутки, открывает новые источники удовольствия упразднением задержек. Удовольствие, которое она доставляет, будь то удовольствие от игры или от упразднения, мы можем считать производным экономии психических затрат в том случае, если такое толкование не противоречит сущности удовольствия и оказывается плодотворным еще и для других моментов⁶².

IV. Мотивы остроумия

Остроумие как социальный процесс

Говорить о мотивах остроумия, казалось бы, излишне, так как стремление получить удовольствие уже должно быть признано достаточным мотивом для него. Но, с одной стороны, не исключена возможность того, что и другие мотивы принимают участие в

⁶² Краткого дополнительного изложения заслуживают те остроты-бессмыслицы, которые не нашли себе полного изложения в тексте.

При том значении, которое наше изложение признает за моментом «смысла в бессмыслице», может появиться искушение рассматривать

каждую остроту, как остроту-бессмыслицу. Но это необязательно, так как только игра мыслями ведет неизбежно к бессмыслице. Другой источник удовольствия от остроумия — игра словами — производит только иногда такое впечатление и не вызывает закономерно связанной с ним критики. Двойкий корень удовольствия от остроумия при игре слов и игре мыслями, соответствующий важнейшему подразделению на остроты по смыслу и на словесные остроты, в значительной мере затрудняет краткую формулировку общих положений об остроумии.

Игра словами доставляет очевидное удовольствие из-за вышеперечисленных моментов опознания и т. д. и поэтому только в небольшой степени подвержена подавлению. Игра мыслями не может быть мотивирована таким удовольствием. Она подвержена чрезвычайно энергичному подавлению и удовольствие, которое она может доставить, является только удовольствием от упразднения задержки. Согласно этому можно сказать, что ядром удовольствия является первоначальное удовольствие от игры, а оболочкой — удовольствие от упразднения. Мы, разумеется, не усматриваем удовольствие от остроты-бессмыслицы в том, что нам удалось вопреки подавлению освободить бессмыслицу. Замечаем сразу, что нам доставила удовольствие игра словами. Бессмыслица, продолжающая относиться к разряду острот по смыслу, приобретает вторично функцию напряжения нашего внимания путем смущения. Она служит средством усиления действия остроты, но только в том случае, если она бросается в глаза. Чаше смущение предшествует на некоторое время пониманию. Что бессмыслицу в остроте можно применить для изображения содержащегося в мысли суждения, было уже показано на некоторых примерах (с. 66–68). Но и это назначение бессмыслицы не является первичным в остроте.

К остротам-бессмыслицам примыкает целый ряд продукций, построенных по типу острот и не имеющих подходящего названия, но они могут претендовать на формулировку «кажущееся остроумным слабоумие». Таких острот существует бесчисленное множество. Я приведу только две.

«Некто, сидя за столом, куда была подана рыба, хватает дважды обеими руками майонез и затем проводит ими по волосам. На удивленный взгляд соседа он, как бы замечая свою ошибку, извиняется: «Извините, я думал, что это шпинат».

Вторая: «Жизнь — это цепной мост», — говорит один. «Почему?» — спрашивает другой. «Откуда я знаю?» — отвечает первый».

Эти крайние примеры оказывают свое действие, потому что они будят ожидание остроты и каждый слушатель невольно старается найти скрытый за бессмыслицей смысл. Но смысла нет никакого. Это действительно бессмыслицы. Этот мираж создает на одно мгновение возможность освободить удовольствие от бессмыслицы. Эти остроты не совсем лишены тенденции. Это «провокации». Они доставляют рассказчику удовольствие, вводя в заблуждение и огорчая слушателя. Последний утешается лишь возможностью стать в свое время самому рассказчиком.

продукции остроумия. С другой стороны, при постановке вопроса о субъективной условности остроумия следует вообще принять во внимание некоторые переживания человека. Прежде всего, этого требуют два факта. Хотя работа остроумия является удачным приемом для получения удовольствия от психических процессов, тем не менее мы видим, что не все люди в одинаковой мере способны пользоваться этим средством. Работа остроумия доступна не всем, а высоко продуктивная работа вообще доступна только немногим людям, о которых говорят, что они остроумны (*sie haben Witz*). Остроумие оказывается в данном случае особой способностью, соответствующей, примерно, старому термину «духовное достояние» («*Seelenvermogen*»), и в своем выявлении она совершенно независима от других способностей: интеллекта, фантазии, памяти и т. д. У остроумных людей нужно предполагать, следовательно, особое дарование или особые психические условия, которые дают место или способствуют работе остроумия.

Я боюсь, что в обосновании этой темы мы не достигнем удовлетворительных результатов. Нам удастся только то здесь, то там, исходя из понимания единичной остроты, проникнуть в знание субъективных условий в душе того, кто эту остроту создал. Совершенно случайно произошло так, что именно тот пример остроумия, которым мы начали наше исследование техники остроумия, позволяет нам также-бросить взгляд и на субъективную условность остроты. Я имею в виду остроту Гейне, на которую обратили внимание и Хейманс, и Липпс.

«...Я сидел рядом с Соломоном Ротшильдом, и он обошелся со мной, совсем как с равным, совсем фамиллионьярно» («Луккские воды»).

Эту фразу Гейне вложил в уста комическому лицу Гирш-Гиа-цинту — коллекционеру, оператору и таксатору из Гамбурга, камердинеру знатного барона Христофора Гумпелино (некогда Гумпеля). Поэт испытывает, очевидно, большое удовольствие от своего образа, так как он заставляет Гирш-Гиа-цинта произнести большую речь, высказывая забавно и откровенно свои точки зрения. Он награждает его прямо-таки практической мудростью Санчо Пансо. Следует сожалеть, что Гейне, которому, как известно, не присуща драматическая форма, вскоре оставляет этот ценный образ. В немногих местах нам кажется, что в лице Гирш-Гиа-цинта говорит как будто сам поэт, скрытый за прозрачной маской, и вскоре нами овладевает уверенность, что эта личность является лишь пародией поэта на самого себя. Гирш рассказывает о причинах, в силу которых он отказался от своего прежнего имени и зовется теперь Гиа-цинтом. «К-тому же я имею еще и ту выгоду, — продолжает он, — что буква Г уже стоит на моей печати, и мне не нужно гравировать себе новую». Но ту же самую экономию сделал сам Гейне, когда он при своем крещении переименовал свое имя «Гарри» на «Генрих». Теперь каждый, кому известна биография поэта, должен вспомнить, что Гейне имел в Гамбурге, откуда происходит и Гирш-Гиа-цинт, дядю по фамилии тоже Гейне, который, будучи богатым человеком в семье, играл величайшую роль в жизни поэта. Дядя назывался тоже Соломон, как и старый Ротшильд, который принял так «фамиллионьярно» бедного Гирша. То, что в устах Гирш-Гиа-цинта кажется простой шуткой, оказывается имеющим фундамент серьезной горечи в приложении к племяннику Гарри-Генриху. Он принадлежал к этой семье. Мы знаем даже, что его страстным желанием было жениться на дочери этого дяди, но кузина отказала ему, а дядя обращался с ним всегда несколько «фамиллионьярно», как с бедным родственником. Богатые кузены в Гамбурге никогда не принимали его радушно. Я вспоминаю рассказ моей собственной старой тетки, которая после замужества вошла в семью Гейне. Однажды она, будучи молодой красивой женщиной, очутилась за семейным столом в соседстве с человеком, который показался ей неприятным и к которому другие относились свысока. Она не чувствовала необходимости быть к нему более снисходительной. Лишь много лет спустя она узнала, что этот кузен, которым пренебрегали и которого презирали, был поэт Генрих Гейне. Как жестоко страдал Гейне в молодости и впоследствии от такого отношения к себе своих богатых родственников, можно узнать из некоторых отзывов. На почве такой субъективной ущемленности выросла затем острота про «фамиллионьярно».

В некоторых других островах великого насмешника тоже можно предположить подобные субъективные условия. Но я не знаю другого примера, на котором это можно было бы объяснить таким убедительным образом. Опасно высказываться более определенно о природе этих личных условий, и поэтому мы не склонны требовать для каждой остроты таких сложных условий появления. В остроумных произведениях других знаменитых людей проникнуть в эти условия будет для нас чрезвычайно трудно. Получается приблизительно такое впечатление, что субъективные условия работы остроумия часто недалеко уходят от условий невротического заболевания. Так, например, Лихтенберг был тяжелым ипохондриком, человеком, одержимым всякого рода странностями. Наибольшее число циркулирующих остроумий, в особенности продуцированных на злобу дня, анонимно. Можно с любопытством спросить, что за люди занимаются такой продукцией? Если иметь удобный случай в качестве врача изучить одного из тех, кто хотя и не является выдающимся, но известен в своем кругу как остряк и автор многих ходячих остроумий, то можно поразиться, открыв, что этот остряк является раздвоенной и предрасположенной к невротическим заболеваниям личностью. Но недостаточность документальных данных удержит нас, конечно, от того, чтобы установить такую психоневротическую конституцию, как закономерное или необходимое условие для создания остроты.

Более ясным случаем являются опять-таки еврейские остроты, которые, как уже было упомянуто, сплошь и рядом созданы самими евреями, в то время как истории о евреях другого происхождения почти никогда не возвышаются над уровнем комической шутки или грубого издевательства. Условие самопричастности можно выяснить здесь так же, как и при остроте Гейне «фамиллионьярно». И значение его заключается в том, что непосредственная критика или агрессивность затруднена для человека и возможна только окольным путем.

Другие субъективные условия или благоприятные обстоятельства для работы остроумия не в такой степени покрыты мраком. Двигательной пружиной продукции безобидных остроумий является нередко честолюбивое стремление проявить себя, показать свой ум, что может быть сопоставлено с эксгибиционизмом в сексуальной области. Бесчисленное множество заторможенных влечений, подавление которых сохранило некоторую степень лабильности, создает благоприятное предрасположение для продукции тенденциозной остроты. Таким образом, особенно отдельные компоненты сексуальной конституции человека могут являться мотивами создания остроумий. Целый ряд скабрезных остроумий позволяет нам сделать заключение о скрытом эксгибиционистическом влечении их авторов. Тенденциозные остроты, связанные с агрессивностью, удаются лучше всего тем людям, в сексуальности которых можно доказать мощный садистический компонент, в жизни подавляемый и более или менее заторможенный.

Вторым обстоятельством, требующим исследования субъективной условности остроумия, является тот общеизвестный факт, что никто не может удовлетвориться созданием остроты для самого себя. С работой остроумия неразрывно связано стремление рассказать остроту. И оно настолько сильно, что довольно часто осуществляется даже во время самого серьезного дела. При комическом произведении рассказывание другому лицу тоже доставляет наслаждение, но оно не так властно. Человек, наткнувшись на комическое, может наслаждаться им сам, один. Остроту он, наоборот, должен рассказать. Психический процесс создания остроты не исчерпывается ее выдумыванием. Остается еще нечто, что приводит неизвестный процесс создания остроты к концу только при рассказывании выдуманного.

Мы, прежде всего, не знаем, на чем основано влечение рассказывать остроты. Но мы замечаем другую своеобразную особенность остроты, которая отличает ее от шутки. Когда мне встречается комическое произведение, я могу сам от всего сердца смеяться. Хотя меня, конечно, радует и возможность рассмешить другого человека рассказом этого комического произведения. По поводу же пришедшей мне в голову остроты, которую я сам создал, я не могу сам смеяться, несмотря на явное удовольствие, испытываемое мною от нее. Возможно, что моя потребность рассказать остроту другому человеку каким-либо образом связана с

этим смехотворным эффектом, в котором отказано мне, но который очевиден у другого.

Почему же я не смеюсь по поводу своей собственной остроты? И какова при этом роль другого человека?

Обратимся сначала ко второму вопросу. При комизме участвуют в общем два лица: кроме меня, то лицо, в котором я нахожу комическое. Если мне кажутся комичными вещи, то это происходит из-за нередкого в мире наших представлений процесса персонификации. Этими двумя лицами, мною и объектом, довольствуется комический процесс; третье лицо может присутствовать, но оно не обязательно. Острота, как игра собственными словами и мыслями, лишена еще вначале лица, служащего для нее объектом. Но уже на предварительной ступени шутки, когда остроте удалось оградить игру и бессмыслицу от возражений разума, она ищет другое лицо, которому может сообщить свои результаты. А это второе лицо в остроте не соответствует объекту. Ему в комическом процессе соответствует третье, постороннее лицо. Создается впечатление, что при шутке второму лицу поручается решить, выполнила ли работа остроумия свою задачу, как будто Я не уверено в своем суждении по этому поводу. Безобидная, оттеняющая мысли острота тоже нуждается в другом человеке, чтобы проверить, достигла ли она своей цели. Если острота обслуживает обнажающие или враждебные тенденции, то она может быть описана как психический процесс между тремя лицами — теми же, что и при комизме, но при этом с иной ролью третьего лица. Психический процесс остроумия совершается между первым лицом Я и третьим, посторонним лицом, а не так, как при комизме — между Я и лицом, служащим объектом.

У третьего лица при остроумии острота тоже наталкивается на субъективные условия, которые могут сделать недоступной главную цель — доставление удовольствия. Как пишет Шекспир (*Love's Labour's lost*, V, 2):

A jest's prosperity lies in the ear,
Of him that hears it, never in the tongue,
Of him that makes it...

Кем владеет настроение, связанное с серьезными мыслями, тому несвойственно указывать шутке на то, что ей посчастливилось спасти удовольствие от словесного выражения. Это лицо должно само пребывать в веселом или, по крайней мере, в спокойном настроении духа, чтобы третье лицо могло служить объектом для шутки. То же препятствие остается в силе для безобидной и для тенденциозной острот. В последнем случае возникает новое препятствие в виде контраста к той тенденции, которую обслуживает острота. Готовность посмеяться над удачной скабрёзной остротой не может появиться в том случае, если обнажение касается высокоуважаемого родственника третьего лица. В собрании ксендзов и пасторов никто не решится привести данное Гейне сравнение католических и протестантских священнослужителей с мелкими торговцами и служащими большой фирмы. А в обществе преданных друзей моего противника самая остроумная брань, которую я могу сочинить против него, является не остроумием, а просто бранью и вызывает у слушателей гнев, а не удовольствие. Некоторая степень благосклонности или определенная индифферентность, отсутствие всех моментов, которые могут вызвать сильные, противоположные тенденции чувства, являются необходимым условием, если третье лицо хочет сделать привлекательной предлагаемую остроту. '.

Где отпадают такие препятствия для действия остроты, там выступает феномен, которого касается наше исследование: удовольствие, доставляемое нам остротой, отчетливее проявляется на третьем лице, чем на авторе остроты. Мы должны довольствоваться тем, что говорим «отчетливее» там, где были бы склонны спросить, не интенсивнее ли удовольствие слушателя, чем удовольствие создателя остроты, так как у нас, разумеется, нет средств для измерения и сравнения. Но мы видим, что слушатель подтверждает свое удовольствие взрывом смеха, тогда как первое лицо рассказывает остроту, по большей части, с серьезной миной. Если я рассказываю остроту, которую сам слышал, то я, чтобы не испортить ее действия, должен при рассказе вести себя точно так же, как и тот, кто ее создал. Возникает

вопрос, можем ли мы из этой условности смеха по поводу остроты сделать заключение о психическом процессе при ее создании?

В наши цели не входят учет всего того, что было сказано и опубликовано о природе смеха. От такого намерения нас отпугивает фраза, которой Дюга, ученик Рибо, начинает свою книгу «Psychologie du rire» (1902). «Il n'est pas de fait plus banal et plus étudie, que le rire; il n'en est pas qui ait eu le don d'exciter davantage la curiosité du vulgaire et celle des philosophes, il n'en est pas sur lequel on ait recueilli plus d'observations et bâti plus de théories, et avec cela il n'en est pas qui demeure plus inexplicable, on serait tenté de dire avec les sceptiques qu'il faut être content de rire et de ne pas chercher à savoir pour quoi on rit, d'autant que peut-être la réflexion tue le rire, et qu'il serait alors contradictoire qu'elle en découvrit les causes»⁶³.

Но зато мы не упустим случая использовать для нашей цели тот взгляд на механизм смеха, который отлично подходит к нашему собственному кругу мыслей. Я имею в виду попытку объяснения Г. Спенсера в его статье «Physiology of Laughter»⁶⁴ («Физиология смеха»).

По Спенсеру, смех — это феномен разрешения душевного возбуждения и доказательство того, что психическое применение этого возбуждения наталкивается внезапно на препятствия. Психическую ситуацию, которая разрешается смехом, он изображает следующим образом: «Laughter naturally results only when consciousness is unawares transferred from great things to small — only when there it what we may call a descending incongruity»⁶⁵.

Точно в таком же смысле французские авторы (Дюга) называют смех «detente» — проявление разрядки. И даже формула А. Бейна: «Laughter a relief from restraint» кажется мне не так уж далеко отстоящей от толкования Спенсера, как хотят нас уверить некоторые авторы.

Мы, однако, чувствуем необходимость видоизменить мысль Спенсера и отчасти определить более точно, отчасти изменить содержащиеся в ней представления. Мы сказали бы, что смех возникает тогда, когда некоторая часть психической энергии, тратившаяся раньше, чтобы занять некоторые психические пути, осталась без применения для этой цели и потому беспрепятственно реагирует на комическое. Мы ясно представляем себе, какую

⁶³ «Нет явления более обычного и более изученного, чем смех. Ничто, как смех, не привлекает к себе в такой степени внимание как среднего человека, так и мыслителя. Не существует ни одного факта, по поводу которого было бы собрано столько наблюдений и выдвинуто столько теорий, как это было сделано в отношении смеха. И вместе с тем нет другого такого явления, которое оставалось бы настолько необъяснимым, как тот же самый смех. Невольно появляется искушение повторить вместе со скептиками, что надо просто смеяться и не спрашивать почему смеешься. Тем более что всякое размышление убивает смех и что знание причин смеха сейчас же послужило бы поводом к исчезновению самого смеха».

⁶⁴ H. Spencer. The physiology of laughter (first published in Macmillans Magazine for March, 1860), Essays II. Bd., 1901.

⁶⁵ Различные пункты этого определения требуют при исследовании комического удовольствия тщательной проверки, предпринятой уже другими авторами и не имеющей, во всяком случае, прямого отношения к нам. Мне кажется, что Спенсеру не посчастливилось с объяснением того, почему реагирование находит именно те пути, возбуждение которых дает в результате соматическую картину смеха. Я хотел бы одним-единственным указанием способствовать выяснению подробно обсуждавшейся до Дарвина и самим Дарвином, но все еще не исчерпанной окончательно темы о физиологическом объяснении смеха, следовательно об источниках и толковании характерных для смеха мышечных движений. Насколько я знаю, характерная для улыбки гримаса растяжения углов рта наступает впервые у удовлетворенного и пресыщенного кормлением грудного ребенка, когда он, усыпленный, выпускает грудь. Там эта мимика является действительно выразительным движением, так как означает решение больше не принимать пищи, будто выражая понятие «достаточно» или скорее даже «предостаточно». Этот первоначальный смысл чрезмерного, полного удовольствия насыщения может указать нам впоследствии на отношение улыбки, остающейся основным феноменом смеха, к исполненным удовольствия процессам реагирования.

«дурную славу» навлекаем на себя такой постановкой вопроса. Но мы решаемся процитировать в свое оправдание великолепную фразу из сочинения Липпса о комизме и юморе. Из него можно почерпнуть объяснение не только комизма и юмора, но и многих других проблем. В конце концов, отдельные психологические проблемы ведут всегда чрезвычайно глубоко в психологию, так что в основе ни одна психологическая проблема не может обсуждаться изолированно. Понятия «психическая энергия», «отреагирование» и количественный учет психической энергии вошли в мой повседневный обиход с тех пор, как я начал философски трактовать факты психопатологии. И уже в своем «Толковании сновидений» (1900) я, согласно с Липпсом, сделал попытку считать «собственно деятельными в психическом смысле» те психологические процессы, которые сами по себе бессознательны, а не процессы, составляющие содержание сознания⁶⁶. Только когда я говорю о занятии психических путей, я как будто отдаляюсь от употребляемых Липпсом сравнений. Познание способности психической энергии передвигаться вдоль определенных ассоциативных путей, а также познание сохранения почти неизгладимых следов психических процессов побудили меня фактически сделать попытку картинного изображения неизвестного. Чтобы избежать недоразумений, я должен присовокупить, что не сделал ни одной попытки провозгласить клетки, волокна или приобретающую теперь все большее значение систему нейронов субстратом для этих психических путей, хотя каким-то не известным еще образом такие пути следовало бы представить как органические элементы нервной системы.

Итак, при смехе, согласно нашему предположению, даны условия для того, чтобы количество психической энергии, употреблявшееся до сих пор для занятия психических путей, получило возможность свободно реагировать. И поскольку, хотя и не каждый смех, но смех по поводу остроты безусловно является признаком удовольствия, то мы склонны привести это удовольствие в связь с прекращением существовавшей до сих пор траты энергии. Когда мы видим, что слушатель остроты смеется, а ее автор не смеется, то это может свидетельствовать только о том, что у слушателя прекратилась затрата психической энергии, в то время как при создании остроты возникают задержки либо для прекращения затраты энергии, либо для возможностиотреагирования. Едва ли можно более верно охарактеризовать психический процесс у слушателя, ставшего третьим участвующим лицом в остроте, чем подчеркивание того факта, что он покупает удовольствие от остроты с незначительной затратой собственной энергии. Это удовольствие является для него, так сказать, подарком. Слова остроты, которую он слышит, обязательно вызывают в нем те представления или ту связь мыслей, возникновению которых у него противодействовали очень сильные внутренние задержки. Он должен был бы сам приложить усилия, чтобы произвольно осуществить эту связь в качестве первого участвующего лица в остроте; или, по крайней мере, затратить на это такое количество психической энергии, которое соответствует силе задержки, подавления или вытеснения этих представлений. Эту психическую затрату он сэкономил. Согласно нашим сделанным ранее рассуждениям, мы должны сказать, что его удовольствие соответствует этой экономии. А согласно нашему взгляду на механизм смеха, мы могли бы скорее сказать, что энергия, употреблявшаяся для обслуживания задержки, внезапно стала излишней из-за воссоздания запретных представлений слуховым восприятием. Отток этой энергии прекратился, и поэтому она

⁶⁶ См. отрывок в цитировавшейся книге Липпса, гл. VIII «О психической силе» и т. д. (Сюда же относится «Толкование сновидений» VIII.) «Итак, остается в силе общее положение: факторами психической жизни являются не процессы, составляющие содержание сознания, а сами по себе бессознательные процессы. Задача психологии, если только она не хочет заниматься простым описанием содержания сознания, должна заключаться в том, чтобы из качества содержания сознания и его временной связи сделать вывод о природе этих бессознательных процессов. Психология должна быть теорией этих процессов. Но такая психология очень скоро найдет, что существуют совершенно различные особенности этих процессов, которые не представлены в соответственном содержании сознания». (Липпс, I. с. 123.)

получила в смехе возможность реагирования. В сущности, оба этих процесса приводят к одному и тому же, так как сэкономленная затрата энергии точно соответствует задержке, которая стала ненужной. Но последний процесс более нагляден, потому что позволяет нам сказать, что слушатель остроты смеется, затрачивая при этом такое количество психической энергии, какое было освобождено упразднением задержки. Смехом он как будто осуществляет отреагирование этого количества энергии.

Если лицо, которое сочинило остроту, не может смеяться, значит процесс, происходящий в голове этого лица, отличен от аналогичного процесса у третьего лица, у которого происходит либо упразднение задержки, либо дана возможность отреагирования на эту задержку. Но первый из этих двух случаев не осуществим, как мы сейчас должны будем признать. Задержка должна быть упразднена и у первого лица, в противном случае не была бы создана острота. Ведь рождение остроты должно было бы преодолеть это сопротивление. Точно так же невозможно, чтобы первое лицо не испытывало удовольствия от остроты, ставшей, конечно, следствием упразднения задержки. Таким образом, остается только второй случай, когда первое лицо, хотя оно и ощущает удовольствие, не может смеяться, так как невозможно отреагирование, являющееся условием смеха. Это может случиться в результате того, что освободившаяся энергия тотчас находит себе другое эндопсихическое применение. Хорошо, что мы обратили внимание на эту возможность; мы вскоре еще больше заинтересуемся ею. Но первое лицо, участвующее в создании остроты, может выполнить другое условие. Возможно, вообще не освободилось такое количество энергии, которое способно проявить себя, несмотря на последовавшее упразднение задержки. Ведь у первого лица совершается работа остроумия, которая должна соответствовать определенному количеству новой психической затраты. Следовательно, первое лицо само добывает силу, которая упраздняет задержку. Из этого оно, безусловно, извлекает удовольствие; в случае тенденциозной остроты — даже очень значительное, так как полученное от работы остроумия предварительное удовольствие само берет на себя функцию упразднения задержки. Но затрата, производимая работой остроумия, в каждом отдельном случае заимствуется из выигрыша, получаемого при упразднении задержки, — та самая затрата, которой нет у слушателя остроты. Для подкрепления вышеизложенного можно привести еще тот факт, что острота может лишиться своего смехотворного эффекта и у третьего лица, как только от него потребуются затраты мыслительной энергии. Намеки, которые делает острота, должны бросаться в глаза, а пробелы — легко заполняться. С пробуждением сознательного мыслительного интереса действие остроты, как правило, становится невозможным. В этом заключается важное отличие остроты от загадки. Вероятно, психическая констелляция во время работы остроумия вообще не благоприятствует свободному отреагированию выигранной энергии. Мы не можем здесь, конечно, глубже вдаваться в понимание этого процесса. Мы более подробно выяснили ту часть нашей проблемы, где речь шла о причине смеха третьего лица; менее подробно — другую часть, где анализировалось, почему не смеется первое лицо.

Тем не менее, если мы придерживаемся наших взглядов на условия смеха и на психический процесс, происходящий у третьего лица, мы вынуждены дать себе удовлетворительное объяснение целого ряда известных нам, но непонятных особенностей остроты. Если у третьего лица должно быть освобождено некоторое, способное к отреагированию количество энергии, то желательны благоприятствующие моменты или соблюдение некоторых условий: 1) нужно быть уверенным, что третье лицо действительно экономит эти затраты; 2) после освобождения этой энергии должно быть предотвращено другое психическое применение ее вместо моторного отреагирования; 3) если количество энергии, затрачиваемой на задержку, которая должна быть упразднена у третьего лица, было до этого еще усилено, увеличено, то это может принести только пользу. Всем этим целям служат определенные приемы работы остроумия, которые мы можем объединить под названием вторичных или вспомогательных технических приемов.

Первое из этих условий устанавливает одну из особенностей, свойственных третьему

лицу — слушателю остроты. Оно должно быть настолько психически согласовано с первым лицом, чтобы обладать теми же внутренними задержками, какие были преодолены работой остроумия у первого лица. Кто не склонен к сальностям, тому удачные обнажающие остроты не доставят никакого удовольствия. Агрессивные остроты господина N. не будут поняты необразованным человеком, который привык давать волю своему удовольствию, получаемому от ругани. Каждая острота требует, таким образом, своей собственной аудитории, и если одна и та же острота вызывает смех у нескольких человек, то это является доказательством большой психической согласованности. Впрочем, мы дошли тут до такого пункта, который дает нам возможность еще подробнее разобрать процесс, происходящий у третьего лица. Оно должно привычным образом воссоздавать в себе ту самую задержку, которую преодолела острота у первого лица. Поэтому у третьего лица, как только оно слышит остроту, навязчиво или автоматически пробуждается готовность к этой задержке. Эта готовность, которую я должен учитывать как действительную затрату, аналогичную мобилизации в армию, признается одновременно (у первого и третьего лица. — Перев.) излишней или запоздалой иотреагируется, таким образом, *in statu nascendi* («в момент зарождения») смехом⁶⁷.

Второе условие для создания свободного отреагирования заключается в предотвращении иного применения освобожденной энергии и оказывается гораздо более важным. Оно дает теоретическое объяснение ненадежности действия остроты в том случае, если выраженная в ней мысль вызывает у слушателя сильно возбуждающие представления. Причем от согласованности или противоречивости между тенденциями остроты и рядом мыслей, овладевающих слушателем, зависит, будет ли сосредоточено внимание на процессе остроумия или он будет оставлен без внимания. Но еще большего теоретического интереса заслуживает целый ряд вспомогательных технических приемов, которые явно служат цели отвлечь внимание слушателя от процесса остроумия и создать для него возможность протекать автоматически. Я говорю умышленно «автоматически», а не «бессознательно», потому что последний термин ввел бы нас в заблуждение. Здесь речь идет только о том, чтобы не допустить большой активности (*Besetzung*) внимания к психическому процессу, возникающему при выслушивании остроты. Употребление этого вспомогательного технического приема дает нам право предположить, что именно активность внимания принимает большое участие в надзоре за освобожденной энергией и в новом применении ее.

По-видимому, вообще нелегко избежать эндопсихического применения энергии, которая стала ненужной, так как мы во время своих мыслительных процессов постоянно передвигаем такую энергию с одного пути на другой, не теряя ни малейшего количества ее на отреагирование. Острота пользуется для этого следующими приемами. Во-первых, она стремится возможно к более краткой формулировке, чтобы дать меньше опорных точек вниманию. Во-вторых, она сохраняет условие легкости понимания (см. выше). И так как она учитывает работу мышления и делает выбор среди различных мыслительных путей, то она должна была бы подвергать опасности свое действие не только из-за неизбежной мыслительной затраты, но и от возбуждения внимания. Кроме того, острота, для того чтобы отвлечь внимание, прибегает к новой уловке: она предлагает вниманию нечто выраженное в остроте, что приковывает его и позволяет беспрепятственно провести освобождение энергии, тратившейся на задержку, и допустить отреагирование от остроты. Пропуски в тексте остроты уже выполняют эту задачу. Они побуждают к заполнению пробелов и осуществляют, таким образом, отвлечение внимания от процесса остроумия. Здесь работа остроумия как будто прибегает к услугам технических приемов загадки, которая привлекает внимание. Еще большее значение имеют фасадные образования, которые мы встречаем, особенно в некоторых группах тенденциозных острот (ср. с. 102). Фасадные образования отлично достигают своей цели: сосредоточить на себе внимание, которому они ставят

⁶⁷ Точка зрения «*status nascendi*» доказана несколько в иной форме Хеймансом (*Zeitschrift für Psychol.*, XI).

какую-нибудь задачу. В то время как мы начинаем раздумывать, в чем заключается ошибка того или иного ответа, мы уже смеемся. Наше внимание застигнуто врасплох; отреагирование освободившейся энергии, затрачивавшейся на задержку, выполнено. То же относится к остротам с комическим фасадом, при которых комизм приходит на помощь технике остроумия. Комический фасад способствует действию остроты больше, чем обычный прием. Он не только создает возможность автоматического течения процесса остроумия благодаря тому, что он приковывает внимание; он облегчает отреагирование от остроты, предпуская ему отреагирование от комического. Комизм действует здесь точно так, как и подкупающее предварительное удовольствие. Таким образом мы можем понять, что некоторые остроты могут совершенно отказаться от предварительного удовольствия, создаваемого другими приемами остроумия⁶⁸.

Мы уже догадываемся, а впоследствии еще яснее увидим, что в условии отвлечения внимания открыли немаловажную черту психического процесса, происходящего у слушателя остроты. В связи с этим мы можем понять еще и другое.

Во-первых, каким образом случается так, что мы никогда не знаем, над чем мы смеемся, хотя можем установить это аналитическим исследованием. Этот смех является именно результатом автоматического процесса, который возможен из-за устранения нашего сознательного внимания.

Во-вторых, мы поняли своеобразность остроты, заключающуюся в том, что она оказывает свое действие на слушателя в полной мере только в том случае, если она нова для него, если она действует на него ошеломляюще. Это свойство остроты, обуславливающее ее недолговечность и побуждающее к составлению все новых острот, проистекает, очевидно, из того, что ошеломить или застигнуть врасплох можно только один раз. При повторении остроты внимание направляется на выплывающее воспоминание о том, когда ее слышали в первый раз. Исходя из этого, мы можем понять затем стремление рассказать слышанную остроту другому человеку, который еще не знает ее. Вероятно, человек вновь получает некоторую возможность наслаждения, отпавшую из-за недостатка новизны, тем впечатлением, которое производит острота на новичка. Аналогичный же мотив побуждает автора остроты рассказывать ее другому человеку.

В-третьих, я указываю на те технические вспомогательные средства, которые служат увеличению количества энергии, предназначенной для отреагирования, и усиливают таким образом действие остроты. Это благоприятствующие моменты, которые являются скорее условиями процесса остроумия. Хотя эти же приемы часто усиливают и внимание, направленное на остроту, но они же вновь снимают влияние внимания, приковывая его и

⁶⁸ На примере остроты, возникающей путем передвигания, я хотел бы обсудить еще одну характерную черту техники остроумия. Гениальная актриса Гаммейер на заданный ей однажды нежелательный вопрос «Сколько вам лет?» ответила «наивно и стыдливо, опустив глаза»: «В Брюнне». Это образец передвигания: на вопрос о возрасте она отвечает указанием на место рождения, предупреждая, таким образом, ближайший вопрос и давая этим понять: «Этот единственный вопрос я хотела бы оставить без ответа». Однако мы чувствуем, что характерная черта остроты получила здесь не безупречное выражение. Уклонение от вопроса слишком ясно, передвигание слишком бросается в глаза. Мы понимаем тотчас, что речь идет об умышленном передвигании. При других остромах, возникающих путем передвигания, последнее замаскировано и наше внимание приковано к тому, чтобы доказать передвигание. В приводимой уже остроте, созданной путем передвигания, дается ответ на расхваливание лошади: «А что я буду делать в 6.30 утра в Прессбурге?» И хотя он является бросающимся в глаза передвиганием, но действует бессмысленно запугивающим образом на наше внимание. В то же время в ответе артистки мы передвигание определяем тотчас. В другом направлении идет различие между остротой и так называемыми «шутливыми вопросами», которые, впрочем, могут прибегать к услугам лучших технических приемов. Вот пример шутливого вопроса, пользующегося техническим приемом передвигания.

«Кто является каннибалом, пожравшим своего отца и свою мать?» Ответ: «Сирота». — «А если он пожрал к тому же всех своих остальных родственников?» — «Значит, это наследник всего имущества». — «А где такое чудовище находит еще симпатию себе?» — «В энциклопедическом словаре под буквой С».

Шутливые вопросы не являются остромами, потому что требуемые остроумные ответы нельзя рассматривать как намеки остроумия, пропуски и т. д.

ограничивая его подвижность. Все, что вызывает интерес и смущение, действует в обоих этих направлениях, в том числе и прежде всего бессмыслица, противоположность, «контраст представлений», который некоторые авторы считали существенной характерной чертой остроумия, но в котором я не усматриваю ничего, кроме средства, усиливающего действие остроты. Все то, что смущает, вызывает в слушателе состояние распределения энергии, которое Липпс назвал «психической запрудой» (Staung). И он, конечно, вправе предположить, что «разгрузка» происходит тем сильнее, чем больше была предшествующая запруда. Правда, изложение Липпса относится не именно к остроте, а к комическому вообще. Но, весьма вероятно, может случиться так, что отреагирование при остроте, разгружающее энергию, которая затрачивалась на задержку, усилено таким же образом благодаря запруде.

Нам теперь ясно, что техника остроумия вообще определяется двоякого рода тенденциями: одни создают возможность образования остроты у первого лица, другие увеличивают в остроте проявление удовольствия у третьего лица. Подобная Янусу двуликость остроты, обеспечивающая первоначальный выигрыш удовольствия перед возражениями критического рассудка, а также механизм предварительного удовольствия относятся к первым тенденциям. Дальнейшее усложнение техники приведенными в этой главе условиями является результатом присутствия третьего лица, интересы которого приняты во внимание.

Итак, острота сама по себе является лукавой плутовкой, которая служит одновременно двум господам. Все, что имеет в виду получение удовольствия, рассчитано при остроте на третье лицо, как будто какие-то внутренние, непреодолимые задержки мешают получению удовольствия первым лицом. Итак, создается полное впечатление необходимости присутствия этого третьего лица для довершения процесса остроумия. Но если мы сумели получить довольно ясное впечатление о природе этого процесса у третьего лица, то соответствующий процесс у первого лица еще окутан для нас мраком. Из двух вопросов: почему мы не смеемся над остротами, созданными нами самими? и почему мы спешим рассказать нашу собственную остроту другому человеку? — мы на первый из них до сих пор не дали ответа. Можем только предположить, что между двумя подлежащими выяснению фактами существует тесная связь: мы именно потому и хотим рассказать нашу остроту другому человеку, что сами не можем смеяться над ней. Из наших взглядов на условия получения удовольствия и отреагирования у третьего лица, мы можем сделать обратный вывод относительно первого лица: у него отсутствуют условия для отреагирования, а условия для получения удовольствия выполнены лишь отчасти. Затем нельзя отрицать, что мы дополняем наше удовольствие, достигая невозможного для нас смеха окольным путем — от впечатления, произведенного на третье лицо, которое мы заставили смеяться. Мы смеемся, таким образом, как бы «крикошетом», как говорит Дюга; ведь смех относится к весьма заразительным проявлениям психических состояний. Если я заставляю другого человека смеяться, рассказывая ему остроту, то я, собственно, пользуюсь им, чтобы возбудить свой собственный смех. И действительно, можно наблюдать, что человек, рассказавший остроту с серьезной миной, подхватывает затем смех другого человека умеренным смешком. Следовательно, сообщение своей остроты другим людям может служить нескольким целям: во-первых, дать мне объективное доказательство успеха работы остроумия; во-вторых, дополнить мое собственное удовольствие обратным действием другого человека на меня; в-третьих, при повторении чужой остроты пополнить недостаток удовольствия, вызванный отсутствием новизны.

В заключение этих рассуждений о психических процессах остроумия, поскольку они разыгрываются между двумя лицами, мы можем бросить ретроспективный взгляд на момент экономии, который кажется нам важным для психологического понимания остроумия, с тех пор как мы дали первое объяснение технике остроумия. Мы уже давно ушли от ближайшего, но вместе с тем наивного понимания этой экономии как желания вообще избежать психической затраты. При чем экономия получается при наибольшем ограничении в употреблении слов и создании мыслительных связей. Мы тогда уже сказали себе: краткое,

лаконичное еще не есть остроумное. Краткость остроумия — это особая, именно «остроумная» краткость. Первоначальный выигрыш удовольствия, которое доставляет игра словами и мыслями, проистекает действительно только от экономии затраты. Но с развитием игры в остроту тенденция к экономии тоже должна переменить свои цели, так как по сравнению с колоссальной затратой нашей мыслительной энергии, безусловно, не было бы принято во внимание то, что сэкономлено употреблением одних и тех же слов или избеганием новых сочетаний мыслей.

Мы можем позволить себе сравнить психическую экономию с предприятием. Пока оборот в нем очень невелик, то, разумеется, на предприятие в целом расходуется мало и расходы на содержание управления крайне ограничены. Бережливость распространяется еще на абсолютную величину затраты. Впоследствии, когда предприятие расширилось, значение расходов на содержание управления отступило на задний план. Теперь не придают большого значения тому, как велико количество издержек, если оборот и доходы увеличились в значительной мере. Экономия в расходах на управление была бы мелочной для предприятия и даже прямо убыточной. Однако было бы неправильно предполагать, что при очень больших доходах больше нет места тенденции к экономии. Ищущая экономии мысль шефа направится теперь на бережливость в мелочах и почувствует удовлетворение, если с меньшей затратой будет исполнено то же распоряжение, которое требовало раньше больших расходов, какой бы ничтожной ни казалась экономия в сравнении с общими расходами.

Аналогичным образом и в нашем сложном психическом механизме детализованная экономия остается источником удовольствия, как могут показать нам повседневные события. Кто прежде зажигал в своей комнате керосиновую лампу, а теперь провел электрическое освещение, тот в течение некоторого времени будет испытывать определенное чувство удовольствия, поворачивая электрический выключатель. Это будет длиться до тех пор, пока в человеке будут жить воспоминания о сложных манипуляциях, которые он проделывал, чтобы зажечь керосиновую лампу. Точно так же для нас остается источником удовольствия даже незначительная (в сравнении с общими психическими затратами) экономия психической энергии. Эту экономию дает остроумное выражение и предназначается она для задержек. При этом мы экономим те расходы, которые привыкли делать и готовы были сделать и на этот раз. И этот момент, несомненно, выступает на первый план.

Локализованная экономия, какою является только что рассмотренная, не замедлит доставить нам мгновенное удовольствие, но длительного облегчения она не даст, поскольку сэкономленное здесь может быть израсходовано в другом месте. Лишь в том случае, если можно избежать другого приложения энергии, частная экономия вновь превращается в общее уменьшение психических затрат. Таким образом, при более глубоком взгляде на процессы остроумия момент уменьшения затрат занимает место момента экономии. Первый момент доставляет, очевидно, больше удовольствия. У первого лица в остроте процесс доставляет удовольствие из-за упразднения задержки, уменьшения местной затраты. Он, по-видимому, не заканчивается до тех пор, пока при посредничестве третьего, постороннего лица не достигнет общего облегчения путем реагирования.

Теоретическая часть

V. Отношение остроумия к сновидению и к бессознательному

В конце главы, которая была посвящена открытию техники остроумия, мы высказали мысль, что процессы сгущения с заместительным образованием и без него, передвигания, изображения путем противоположности, путем бессмыслицы, непрямого изображения и другие процессы, которые, как мы нашли, принимают участие в создании остроты, являют далеко идущую аналогию с процессами работы сна. И мы оставили за собой право, с одной

стороны, подробнее изучить эти аналогии, с другой — исследовать то общее между сновидением и остроумием, которое выявляется таким путем. Нам было бы гораздо легче провести это сравнение, если бы мы могли предположить, что один из элементов сравнения — работа сна — известен. Но мы, вероятно, поступим лучше, если не сделаем этого предположения. У меня создалось впечатление, что опубликованное в 1900 году «Толкование сновидений» вызвало у моих коллег по специальности больше смущения, чем понимания. И я знаю, что широкие круги читателей удовлетворились тем, что свели все содержание книги к ходячему выражению «исполнение желания», которое можно легко запомнить и которым легко злоупотреблять.

Занимаясь продолжительное время проблемами, о которых там шла речь, и имея обильный материал, доставленный мне как психотерапевту во время моей врачебной деятельности, я не нашел в нем ничего, что требовало бы изменения или корректировки моих рассуждений. Поэтому я могу спокойно выжидать, пока читатели поймут «Толкование сновидений» или пока проницательная критика укажет мне основные ошибки моей интерпретации. Чтобы облегчить сравнение с остротой, я повторю здесь в сжатом виде самое необходимое о сновидении и о работе сна.

Мы узнаем сновидение из воспоминания, которое кажется нам по большей части отрывочным и появляется после пробуждения ото сна. Сновидение в большинстве случаев состоит из призрачных (но в то же время отличающихся от них) эмоциональных впечатлений, которые дали нам суррогат переживания и которые могут быть смешаны с некоторыми мыслительными процессами («знание» в сновидении) и аффективными проявлениями. То, что мы вспоминаем как сновидение, я называю «явным содержанием». Оно часто совершенно абсурдно и запутано, иногда оно только абсурдно или только запутано. Но даже тогда, когда оно связное, как в некоторых сопровождающихся страхом сновидениях, оно противопоставляется нашей жизни как нечто чудовое, о происхождении которого нельзя дать себе отчета. Объяснения этого характера сновидения искали до сих пор в нем самом, усматривая в нем признаки беспорядочной, диссоциированной и, так сказать, «сонной» деятельности нервных элементов.

В противовес этому я показал, что это столь странное «явное» содержание сновидения всегда может быть понято как искаженное и измененное описание определенных, логически правильных психических переживаний, которые заслуживают названия «латентные мысли сновидения». Познание этих мыслей можно получить, если разложить явное содержание сновидения на его составные части, не обращая при этом внимания на кажущийся смысл, который оно может иметь, и если проследить затем ассоциативные нити, исходящие от каждого, изолированного теперь элемента. Эти нити сплетаются друг с другом и приводят, наконец, к наслоению мыслей, которые не только вполне логичны, но и легко могут быть поставлены в известную нам связь с нашими душевными процессами. Путем этого «анализа» содержание сновидения освобождается от всех своих поражающих нас странностей. Но чтобы такой анализ был удачным, мы должны в течение его проведения постоянно опровергать критические возражения, которые делаются непрерывно против репродукции отдельных, способствующих анализу ассоциаций.

Из сравнения вспоминаемого явного содержания сновидения с найденными таким образом латентными мыслями вытекает понятие «работы сна». Работой сна можно назвать всю сумму превращающих процессов, которые переводят латентные мысли сновидения в явное сновидение. От работы сна и происходит то удивление, которое раньше вызывало в нас сновидение.

Механизм работы сна может быть описан в следующем виде. Очень сложный, в большинстве случаев, ряд мыслей, который был выстроен и не был исчерпан в течение дня (так называемый дневной остаток) сохраняет и в течение ночи предназначенное ему количество энергии (интерес) и угрожает нарушить сон. Этот дневной остаток при работе сна превращается в сновидение и становится безвредным для сна. Чтобы дать исходный пункт работе сна, дневной остаток должен обладать способностью создавать желание —

условие, которое легко выполнимо. Желание, вытекающее из мыслей сновидения, образует предварительную ступень, а впоследствии — ядро сновидения. Полученный из анализов опыт (но не теория сновидений) говорит нам, что достаточно любого желания ребенка, оставшегося неисполненным при бодрствовании, чтобы вызвать сновидение, которое получается связным, имеющим смысл, но в большинстве случаев коротким. Оно легко может быть распознано как «исполнение желания». У взрослого существует общее благоприятное условие для желания, вызывающего сновидение. Оно заключается в том, что желание чуждо сознательному мышлению; то есть в том, что желание вытеснено или хотя бы содержит в себе неизвестные подкрепляющие тенденции для сознания. Не предполагая участия бессознательного в вышеизложенном смысле, я не мог бы развить дальше теорию сновидения и дать толкование накопленному материалу, состоящему из анализов сновидений. Влияние этого бессознательного желания на сознательно-логичный материал мыслей и дает в результате сновидение. Последнее втянуто при этом как будто в бессознательное. Точнее говоря, оно подвержено обработке в том виде, в каком она происходит на стадии бессознательных мыслительных процессов и характерна для этой стадии. Мы до настоящего времени только из результатов «работы сна» знаем характер бессознательного мышления и его отличие от «предсознательного» мышления, способного стать сознательным.

Совершенно новое, непростое и противоречащее общепринятому мышлению учение едва ли может выиграть в ясности при сжатом изложении. Этим замечанием я, следовательно, имею в виду ничто иное, как ссылку на подробное изложение бессознательного в моем «Толковании сновидений» и на кажущиеся мне в высшей степени важными работы Липпса. Я знаю, что тот, кто не имеет достаточного философского образования или мало склонен к так называемой философской системе, оспаривает возможность «психически бессознательного» в смысле, понимаемом Липпсом и мною и берется доказать его невозможность на любом из психических определений. Но определения условны и могут быть изменены. Я часто имел возможность на опыте убедиться, что лица, оспаривающие бессознательное, как нечто абсурдное и невозможное, вынесли свои впечатления не из тех источников, из которых, по крайней мере для меня, вытекает необходимость признания бессознательного. Противники бессознательного никогда не принимали во внимание эффекты постгипнотического внушения. И то, о чем я сообщал им в качестве примеров из моих наблюдений за негипнотизированными невротиками, приводило их в величайшее удивление. Они никогда не допускали мысли, что бессознательное есть нечто такое, чего в действительности не знают, в то время как необходимые выводы вынуждают дополнить понятие бессознательного (хотя бы под этим подразумевались мысли, способные стать сознательными) тем, о чем мы как раз в данный момент не думали, что не находилось в «центре нашего внимания». Они также не пытались убедиться в существовании таких бессознательных мыслей в их собственной душевной жизни, анализируя свои собственные сновидения. А когда я пытался производить с ними такой анализ, они вспоминали приходящие в голову им мысли с удивлением и со смущением. У меня создалось впечатление, что принятию «бессознательного» существенно препятствует аффективное сопротивление, вызванное тем, что никто не хочет изучать свое бессознательное Я, так как легче всего вообще отрицать возможность его существования.

Итак, работа сна, к которой я возвращаюсь после этого отступления, подвергает совершенно своеобразной обработке мыслительный материал, который облечен в форму желания. Она, прежде всего, заменяет сослагательное наклонение настоящим временем, заменяет «я хотел бы сделать» выражением «я делаю». Это «я делаю» предназначено для галлюцинаторного изображения, что я назвал «регрессией» работы сна. При этом совершается путь от мыслей к картинам восприятия. Или, учитывая еще неизвестную — понимаемую не в анатомическом смысле — топику душевного процесса, можно было бы сказать, что совершается обратный путь из области мысленных картин в область эмоциональных восприятий. Этим путем, противоположным направлению развития

усложняющейся душевной деятельности, мысли сновидения приобретают наглядность. Наконец, ядром явной «картины сновидения» оказывается пластическая ситуация. Чтобы добиться такой эмоциональной изобразительности, мысли сновидения должны были существенно преобразоваться. Но во время обратного превращения мыслей в эмоциональные картины в них наступают еще и другие изменения, которые отчасти понятны как необходимые, а отчасти являются неожиданными. Необходимым побочным результатом регрессии следует считать то, что почти все связи внутри мыслей, которые расчлениают их, оказываются потерянными для явного сновидения. Работа сна принимает для изображения только, так сказать, сырой материал представлений, не принимая тех мыслительных соотношений, которые удерживают их относительно друг друга. Или она, оставляя за собой, по крайней мере, право не обращать внимания на эти последние соотношения. Другую часть работы сна мы, наоборот, не можем считать производным регрессии сна, обратного превращения в эмоциональные картины, причем ту именно часть, которая нам важна для проведения аналогии с образованием остроты. Материал мыслей сновидения испытывает во время работы сна совершенно необычное укомплектовывание или сгущение. Его исходными точками являются те общие черты, которые случайно или соответственно содержанию имеются налицо в мыслях сновидения. Так как эти общие черты обычно недостаточны для полного сгущения, то в работе сна создаются новые, искусственные общие черты. Для этой цели охотно употребляются даже слова, в тексте которых совпадают различные значения. Вновь созданные сгущенные общие черты входят в явное содержание сновидения как представители мыслей сновидения. Поэтому один элемент сновидения соответствует узловому и перекрестному пункту мыслей сновидения. Принимая во внимание эти мысли, такой пункт должен быть назван «свервдетерминированным». Факт сгущения является той частью работы сна, которую можно распознать легче всего. Достаточно сравнить написанный текст сновидения с записью мыслей сновидения, полученных путем анализа, чтобы получить ясное представление о частоте сгущения в сновидении.

Не так легко убедиться во втором большом изменении, которое производит работа сна в мыслях сновидения. Речь идет о процессе, который я назвал передвиганием в сновидении. Это изменение проявляется в следующем: в центре явного сновидения стоит и сопровождается большой чувственной интенсивностью то, что в мыслях сновидения находилось на периферии и было второстепенным; и наоборот. Сновидение оказывается поэтому «передвинутым» в сравнении с мыслями сновидения. И именно из-за этого передвигания сновидение оказывается чуждым и непонятным для душевной жизни при бодрствовании. Чтобы осуществилось подобное передвигание энергии, должна быть дана возможность беспрепятственно переходить от важных представлений к маловажным, что на нормальное, способное стать сознательным мышление может произвести впечатление только «ошибки мышления».

Превращение для возможности изображения, сгущение и передвигание являются тремя большими механизмами, которые мы можем приписать работе Сна. Четвертый механизм, которому уделено, быть может, слишком мало места в толковании сновидений, не принят здесь во внимание для нашей цели. Вывода последовательно идеи из «топики душевного аппарата» и «регрессии» (а только такая последовательность придаст полноценность рабочим гипотезам), следовало бы сделать попытку определить, на каких ступенях регрессии происходят различные превращения мыслей в сновидении. Эта попытка не получила еще серьезного обоснования, но относительно передвигания, по крайней мере, можно с уверенностью сказать, что оно должно происходить на мыслительном материале в то время, когда он находится на ступени бессознательных процессов. Сгущение представляют себе, по всей вероятности, как процесс, распространяющийся через все течение мыслей вплоть до области восприятия. В общем же удовлетворяются тем, что предполагают одновременно наступающее действие всех сил, принимающих участие в образовании сновидения. При той осторожности, которую, понятно, следует соблюдать в трактовке таких проблем, и принимая во внимание не подлежащую здесь обсуждению принципиальную рискованность такой

постановки вопроса, я все же решаюсь выставить положение, что предшествующий сновидению процесс работы сна должен быть перенесен в область бессознательного. Итак, в целом при образовании сновидения следовало бы, грубо говоря, различать три стадии. Во-первых, перевод предсознательных дневных остатков в бессознательное, чему должны способствовать условия сонного состояния. Затем (во-вторых) собственно работа сна в бессознании. И в-третьих, регрессия обработанного таким образом материала сновидения вплоть до восприятия, в качестве которого сновидение проникает в сознание.

В качестве сил, принимающих участие в образовании сновидения, можно распознать: желание спать; энергию, оставшуюся еще у дневных остатков после уменьшения количества ее при сонном состоянии; психическую энергию снообразующего бессознательного желания; противодействующую силу «цензуры», которая господствует при бодрствовании и не вполне исчезает во время сна. Задачей снообразования является, прежде всего, преодоление задержки цензуры. Именно эта задача разрешается с помощью передвижения психической энергии внутри материала, доставляемого мыслями сновидениями.

Теперь вспомним, по какому поводу мы при исследовании остроумия подумали о сновидении. Мы нашли, что характер и действие остроты связаны с определенными формами выражения, техническими приемами, среди которых самыми поразительными являются различные виды сгущения, передвижения и непрямого изображения. Но процессы, приводящие к тем же результатам, то есть к сгущению, передвижению и непрямому изображению, стали нам известны как особенности работы сна. Не подсказывает ли эта аналогия вывод, что работа остроумия и работа сна должны быть идентичны хотя бы в одном существенном пункте? Работа сна оказывается, по моему мнению, расшифрованной для нас в ее важнейших характерных чертах; из психических процессов при остроумии мы расшифровали ту именно часть, которую можем сравнить с работой сна — процесс образования остроты у первого лица. Не должны ли мы поддаться искушению конструировать этот процесс по аналогии с образованием сновидения? Некоторые из особенностей сновидения настолько чужды остроте, что мы не можем перенести на образование остроты даже соответствующую им часть работы сна. Регрессия хода мыслей вплоть до восприятия отпадает, конечно, для остроты. Зато две другие стадии образования сновидения — погружение предсознательной мысли в бессознательную сферу и бессознательная обработка ее, — если мы допустим их существование при образовании остроты, дадут нам тот именно результат, который мы можем наблюдать при анализе остроты. Итак, мы решаемся сделать предположение, что это является процессом образования остроты. Предсознательная мысль на момент подвергается бессознательной обработке, и результат этой обработки вскоре постигается сознательным восприятием.

Но прежде чем мы проверим это положение в деталях, мы хотим подумать об одном возражении, которое может угрожать нашему предположению. Мы исходим из того факта, что технические приемы остроумия указывают на те же самые процессы, которые известны нам как особенности работы сна. Нам могут легко возразить, что мы не могли бы описать технические приемы остроумия как сгущение, передвижение и т. д. и не пришли бы к столь далеко идущим аналогиям в приемах изображения, которыми пользуются острота и сновидение, если бы предшествующее знание работы сна не подкупило нас в нашей трактовке техники остроумия. В сущности при анализе остроты мы нашли только подтверждение тем ожиданиям, с которыми перешли от сновидения к остроте. Такой генезис аналогии не дал бы никаких прочных гарантий ее постоянства, кроме разве нашей предубежденности. Механизмы сгущения, передвижения и непрямого изображения не были также фактически выделены ни одним Другим автором в качестве форм выражения остроты. Это возражение было бы возможно, но из этого еще отнюдь не следует, что оно было бы справедливо. Точно так же возможно, что категоричность нашей трактовки благодаря знанию работы сна была необходима для того, чтобы распознать действительную аналогию. Однако окончательное решение будет зависеть только от того, сможет ли испытующая критика доказать на единичных примерах, что такая трактовка техники остроумия является

навязанной и что ради нее были отброшены другие трактовки, которые ближе к истине и глубже проникают в нее. Или критика должна будет согласиться с тем, что ожидания, с которыми мы подошли от сновидения к остроте, действительно подтвердились. Я держусь того мнения, что нам нечего бояться такой критики и что наш прием редукции показал нам точно, в каких формах выражения следовало искать технические приемы остроумия. Тот факт, что мы дали этим техническим приемам те же наименования, которые заранее предreshают уже результат аналогии между техникой остроумия и работой сна, был нашим законным правом, собственно говоря, ничем иным, как легко оправдываемым упрощением.

Другое возражение не так существенно для нас, но зато и не нуждается в столь основательном опровержении. Можно было бы думать, что согласующиеся так хорошо с нашими целями технические приемы остроумия хотя и заслуживают признания, но не исчерпывают собой всех возможных или употребляемых на практике технических приемов остроумия. Под влиянием прототипа, каким для нас явилась работа сна, мы отыскивали якобы соответствующие только ей технические приемы остроумия, в то время как другие приемы, которые мы проглядели, показали бы, что такая аналогия не существует как нечто постоянное. Я действительно не решаюсь утверждать, что мне удалось выяснить технику всех находящихся в обращении острот. Ввиду этого оставляю открытым вопрос о том, что мое перечисление технических приемов остроумия страдает некоторой неполнотой. Но я не исключил преднамеренно из обсуждения ни одного вида техники, который мог быть мною расшифрован. Я утверждаю, что от моего внимания не ускользнули самые частые, самые важные, в большинстве случаев, характерные технические приемы остроумия.

Остроумие обладает еще одной характерной чертой, которая вполне согласуется с нашей, вытекающей из сновидения трактовкой работы остроумия. Хотя и говорят, что остроту «создают», но чувствуется, что этот процесс отличается от того процесса, который совершает человек, высказывающий мнение или делающий возражение. Острота имеет чрезвычайно резко выраженный характер «внезапно пришедшей в голову мысли». Еще за один момент до этого человек не знает, что он создаст остроту, которую потом останется лишь облечь в словесную форму. Человек испытывает, напротив того, нечто не поддающееся определению. Это я мог бы сравнить с внезапным разрядом интеллектуального напряжения, после которого сразу рождается острота, в большинстве случаев одновременно со своей оболочкой. Некоторые из приемов остроумия находят себе применение в выражении мыслей и вне остроумия; например, сравнение и намек. При этом сначала у меня в уме может мелькнуть прямое выражение этой мысли (внутреннее слышание), могут появиться задержки в высказывании этой мысли по мотивам, диктуемым данной ситуацией. Затем я пытаюсь заменить прямое выражение формой косвенного выражения и делаю намек. Но намек, возникший таким образом, созданный под моим непрерывным контролем, никогда не остроумен, как бы удачен он ни был. Остроумный намек возникает, наоборот, без того, чтобы я мог проследить эти подготовительные стадии в моем мышлении. Я не хочу придавать слишком большое значение этому соотношению. Оно едва ли решает вопрос. Но оно все же хорошо согласуется с нашим предположением, что при создании остроты ход мыслей погружается на момент в бессознательную сферу и затем внезапно выплывает из бессознательного в виде остроты.

Остроты занимают особое положение и в ассоциативном мышлении. Наша память часто не располагает ими тогда, когда мы хотим их вызвать. Но иной раз они возникают невольно и в таких местах хода наших мыслей, что мы не понимаем, как они вплетаются. Это опять-таки мелкие черты, но они все же указывают на происхождение острот из бессознательного.

Соберем теперь все характерные черты остроумия, которые могут указать на то, что оно образуется в бессознательном спектре. Прежде всего следует отметить своеобразную лаконичность остроты — качество, которое хотя и не считается необходимым, но обладает чрезвычайно характерным признаком. Когда мы впервые столкнулись с ним, то были склонны видеть в лаконичности выражение экономящей тенденции. Но мы сами же и

обесценили это понимание теми возражениями, которые оно вызвало у нас самих. Лаконичность остроумия кажется нам теперь скорее признаком бессознательной обработки мыслей при создании остроты. Соответствующей в сновидении сгущение мы не можем поставить в связь ни с каким другим моментом, кроме локализации в бессознательном. И мы должны предположить, что в бессознательном ходе мыслей даны условия для таких сгущений, отсутствующие в предсознательном⁶⁹. Следует ожидать, что при процессе сгущения теряются некоторые из подвергающихся ему элементов, в то время как другие, получающие от них энергию активности (*Besetzungsenergie*), приобретают усиленную или чрезмерно усиленную конструкцию. Лаконичность остроумия, как и лаконичность сновидения, является, таким образом, необходимым побочным явлением происходящих в обоих случаях сгущений; становится результатом процесса сгущения. Этому происхождению лаконичность остроумия обязана и своим особым, поразительным для восприятия характером, не поддающимся дальнейшему объяснению.

Мы уже раньше истолковали один из результатов сгущения, Многократное употребление одного и того же материала, игру слов, созвучность как локализованную экономию, и считали удовольствие, доставляемое безобидной остротой, производной этой экономии. Впоследствии мы усмотрели первоначальную цель остроты в том, чтобы извлечь удовольствие такого же рода из слов. Это было ей разрешено на ступени игры, но запрещено рассудительной критикой в постепенном ходе интеллектуального развития. Теперь мы предположим, что такого рода сгущения в том виде, в каком они служат технике остроумия, возникают автоматически, без особой преднамеренности, во время мыслительного процесса в бессознательном. Не имеем ли мы здесь перед собой двух различных объяснений одного и того же факта, которые только кажутся несовместимыми друг с другом? Я не думаю. Это, конечно, два различных объяснения, и они должны быть согласованы друг с другом, они не противоречат одно другому. Одно из них просто чуждо другому, и если мы установим между ними ка-кую-нибудь связь, то, вероятно, сделаем шаг вперед в нашем познании. Что такие сгущения являются источником удовольствия, это вполне согласуется с предположением, что они легко находят в бессознательном условия для своего возникновения. Даже больше того. Мы усматриваем мотивировку для погружения в бессознательное в том обстоятельстве, что там легко производится сгущение, которое доставляет удовольствие и которое нужно остроте. И два других момента, которые на первый взгляд кажутся совершенно чуждыми друг другу и как бы совпадающими с помощью нежелательной случайности, также при более глубоком исследовании оказываются тесно связанными и даже, по существу, тождественными. Я имею в виду оба положения, согласно которым остроумие может, с одной стороны, производить такие доставляющие удовольствие сгущения во время своего развития на ступени игры, следовательно в детстве разума, а с другой стороны, оно совершает тот же самый процесс на высшей ступени, погружая мысль в бессознательное. Инфантильное является источником бессознательного, бессознательными же процессами мышления являются те и только те, которые происходили в раннем детстве. Мысль, которая погружается в бессознательное, чтобы создать остроту, отыскивает там только старый уголок бывшей некогда игры словами. Мышление на одан момент снова становится на детскую ступень, чтобы таким образом вновь завладеть детским источником удовольствия. Если этого еще не знают из исследования психологии неврозов, то при остроумии следует понять, что странная бессознательная обработка является ничем иным, как инфантильным типом мыслительной работы. Дело только в том, что у ребенка не очень легко уловить это инфантильное мышление с его особенностями, сохранившимися в бессознательной сфере

⁶⁹ Сгущение, как закономерный и исполненный значения процесс, я доказал, помимо работы сна и техники остроумия, еще в одной области душевной деятельности — в механизме нормального нетенденциозного забывания. Забыть отдельное впечатление трудно. Те впечатления, между которыми существует какая-нибудь аналогия, забываются, подвергаясь сгущению, которое имеет в своей основе общие точки соприкосновения. Смешивание аналогичных впечатлений является одной из предварительных ступеней забывания.

взрослого, так как оно в большинстве случаев корректируется, так сказать, *in statu nascendi* (в момент образования — лат.). Но все же в целом ряде случаев это удается сделать, и тогда мы всякий раз смеемся над «детской глупостью». Каждое открытие такого бессознательного вообще действует на нас как «комическое»⁷⁰.

Легче понять характерные черты этих бессознательных мыслительных процессов в проявлениях больных при некоторых психических расстройствах. Весьма вероятно, что, согласно предположению старика Гринингера, мы могли бы понимать делирии душевно больных и оценивать их как связанные сообщения, если бы не предъявляли к ним требований, какие предъявляем к сознательному мышлению, а толковали бы их примерно так, как толкуем сновидения⁷¹. Мы в свое время оценили и для сновидения «возврат душевной жизни к эмбриональной точке зрения»⁷².

Мы так подробно обсудили на процессах сгущения значение аналогии между остротой и сновидением, что в последующем сможем излагать свои мысли короче. Мы знаем, что передвигание при работе сна указывает на воздействие цензуры сознательного мышления, и соответственно этому, встретив среди технических приемов остроумия передвигание, мы будем склонны предположить, что и при образовании остроты играет роль задерживающая сила. Мы знаем также, что это общий случай. Стремление получить в остроте прежнее удовольствие от бессмыслицы или от игры словами встречается в нормальном состоянии задержку в виде протеста критического разума, причем задержку эту необходимо преодолевать в каждом отдельном случае. Но в том способе, каким работа остроумия разрешает эту задачу, проявляется резкая разница между остротой и сновидением. В работе сна разрешение этой задачи происходит регулярно путем передвиганий, путем выбора представлений, в достаточной мере удаленных от тех представлений, которым цензура оказывает препятствие. Делается это с той целью, чтобы найти проход через цензуру. И все же заместителями этих последних представлений являются те, которые взяли на себя всю энергию активности (*Besetzung*). Поэтому передвигания не отсутствуют ни в одном сновидении и являются весьма многообъемлющими. Не только уклонение от хода мыслей, но и все виды непрямого изображения следует отнести к передвиганиям, в особенности: замену важного или предосудительного элемента индифферентным или кажущимся цензуре безобидным, ставшим как бы отдаленным намеком на первый элемент; замену символикой, сравнением, деталью.

Нельзя отрицать, что частицы этого непрямого изображения осуществляются уже в предсознательных мыслях сновидения. Таковы, например, изображения, осуществляемые путем символики и сравнения, ибо в противном случае мысль вообще не проходила бы через стадию подсознательного выражения. Непрямые изображения такого рода и намеки, отношение которых к тому, на что они намекают, легко может быть открыто, являются ведь позволительными и широко употребляемыми приемами выражения и в нашем сознательном мышлении. Но работа сна преувеличивает до бесконечности применение этих приемов непрямого изображения. Под давлением цензуры всякая связь оказывается достаточной для замены намеком, передвигание допускается с одного элемента на любой другой. Особенно поразительна и характерна для работы сна замена внутренних ассоциаций (сходство,

⁷⁰ Многие из моих пациентов-невротиков, пользующихся психоаналитическим лечением, имеют обыкновение всякий раз свидетельствовать смехом о том, что удалось верно указать их сознательному восприятию на нечто скрытое, бессознательное. Они смеются даже тогда, когда содержание расшифрованного отнюдь не смешно. Разумеется, условием для этого является достаточно близкий подход невротики к этому бессознательному, чтобы они поняли, когда врач расшифрует и преподнесет им его.

⁷¹ Мы не должны при этом забывать, что нужно учитывать искажение, происходящее от цензуры, которая оказывает еще свое действие и в психозе.

⁷² «Толкование сновидений».

причинная связь и т. д.) так называемыми внешними (одновременность, смежность в пространстве, созвучность).

Все эти приемы передвигания являются вместе с тем и техническими приемами остроумия, но при этом они в большинстве случаев соблюдают границы, отведенные их применению в сознательном мышлении. Передвигание может вообще отсутствовать, хотя бы остроте и предстояло выполнение необходимой задачи преодоления задержки. Это второстепенное значение передвигания при работе остроумия понятно, если вспомнить, что в распоряжении остроумия обычно имеется другой технический прием, с помощью которого оно отделяется от задержки. К тому же мы не нашли ничего, что было бы для него более характерно, чем этот технический прием. Острота не создает компромиссов, как это делает сновидение, она не избегает задержки. Но она заключается в том, что сохраняет в неизменном виде игру словами или бессмыслицей. Однако острота ограничивается выбором таких случаев, в которых эта игра или бессмыслица может все-таки в то же время оказаться позволительной (шутка) или глубокомысленной (острота) из-за множественности толкования слов и разнообразия мыслительных соотношений. Острота отличается больше всего от всех других психических образований этой своей двойственностью и лицемерием, и, по крайней мере с этой стороны, авторы ближе всего подошли к познанию остроумия, подчеркнув «смысл в бессмыслице».

При полном преобладании этого отличающего остроту технического приема, направленного на преодоление задержки, могло бы показаться излишним то, что она вообще еще пользуется в отдельных случаях техникой пережигания. Однако, с одной стороны, некоторые виды этой техники остаются ценными для остроты как цели и источники удовольствия; например, собственно передвигание (отклонение мыслей), которое разделяет, конечно, природу бессмыслицы. С другой стороны, не следует забывать, что высшая ступень остроумия, тенденциозная острота, часто должна преодолевать двоякого рода задержки, противодействующие ей самой и ее тенденции, и что намеки и пережигания могут сделать для нее возможным разрешение этой задачи.

Частое и неограниченное применение непрямого изображения, передвигания и в особенности намеков в работе сна имеет одно следствие, которое я упоминаю не в силу его значения, но потому что оно было для меня субъективным поводом заняться проблемой остроумия. Когда несведущему или непривычному человеку дают толкование сновидения, в котором проложены странные, недопустимые для бодрствующего мышления пути намеков и передвиганий, использованных в работе сна, то у читателя создается неприятное впечатление. Он считает эти толкования «остроумными», но усматривает в них остроты явно неудачные, натянутые, прегрешившие чем-то против правил остроумия. Это впечатление легко объяснить. Оно вытекает из того, что работа сна прибегает к тем же приемам, что и остроумие, но в применении их она переходит те границы, которые соблюдает острота. Мы вскоре услышим также, что острота в роли третьего лица связана определенным условием, которое не нужно соблюдать сновидению.

Среда технических приемов, общих и для остроумия, и для сновидения, определенного интереса заслуживают изображение при помощи противоположности и употребление бессмыслицы. Первое относится к сильно действующим приемам остроумия, как мы могли видеть на примерах «острот, появившихся путем преувеличения». Изображение при помощи противоположности не может, впрочем, ускользнуть от сознательного внимания подобно большинству других технических приемов остроумия. Кто попытается привести у себя самого в действие механизм работы остроумия по возможности преднамеренно, как это делает привычный остряк, тот вскоре найдет, что остротой чаще всего возражают на какое-нибудь утверждение. Причем возражают тогда, когда поддерживают противоположную точку зрения. Этим внезапно пришедшей в голову мысли дается возможность путем превратного толкования устранить возражение, направленное против этой точки зрения. Быть может, изображение при помощи противоположности обязано таким преимуществом именно тому обстоятельству, что оно образует ядро другого

доставляющего удовольствие способа выражения мысли, для понимания которого нам не нужно беспокоить бессознательное. Я имею в виду иронию, которая очень близко подходит к остроте и относится к подвидам комического. Ее сущность состоит в том, что человек высказывает положение, противоположное тому, что он имеет в виду сообщить другому. Но он устраняет возникающее при этом противоречие тем, что дает понять тоном, сопровождающими жестами, мелкими стилистическими черточками — если речь идет о письменном изложении, — что он имеет в виду, собственно, противоположное высказанному. Ирония применима только там, где человек готовится услышать противоположное, так что она обязательно возбуждает в нем желание противоречить. В силу этого условия ирония особенно легко подвержена опасности быть не понятой. Для лица, использующего иронию, она представляет ту выгоду, что дает ему возможность легко обходить трудности прямых выражений, например ругательств. У слушателя она вызывает комическое удовольствие, так как побуждает его, вероятно, к затрате психической энергии на разрешение скрытого противоречия. Причем, вскоре оказывается, что затрата эта была излишней. Такое сравнение остроты с приближающимся к ней видом комизма должно укрепить нас в предположении, что отношение к бессознательному является особым признаком остроты, отличающим ее, быть может, и от комизма⁷³.

В работе сна изображению при помощи противоположного отводится еще гораздо большая роль, чем при остроумии. Сновидение не только любит изображать две противоположности с помощью одного и того же смешанного образа. Оно так часто превращает один предмет из мыслей сновидения в его противоположность, что из этого вырастают большие трудности при толковании. «Ни один элемент, способный найти себе прямую противоположность, не показывает сразу, имеет ли он в мыслях сновидения положительный или отрицательный характер»⁷⁴.

Я должен подчеркнуть, что факт этот отнюдь еще не нашел понимания. Но он указывает на очень важную характерную черту бессознательного мышления, лишенного, по всей вероятности, того процесса, который можно было бы сравнить с «суждением». Взамен суждения, которого бессознательное не признает, в нем находят «вытеснение». Вытеснение можно правильно описать как промежуточную ступень между защитным рефлексом и осуждением⁷⁵.

Бессмыслица, абсурдность, которые так часто имеют место в сновидении и навлекают на него столько неза заслуженного презрения, все же никогда не возникают случайно, путем беспорядочного нагромождения элементов представлений. В каждом отдельном случае можно доказать, что они умышленно созданы работой сна для изображения ожесточенной критики и презрительного противоречия в мыслях сновидения. Абсурдность содержания сновидения заменяет, следовательно, в его мыслях следующее суждение: «Это бессмыслица». Я в своем «Толковании сновидений» придал большое значение этому указанию, так как думал таким путем убедительнее всего рассеять заблуждение, будто сновидение вообще не является психическим феноменом, преграждающим путь к познанию бессознательного. Мы узнали теперь (при разгадке некоторых приведенных ранее тенденциозных острот), что бессмыслица в остроте должна служить тем же целям

⁷³ На отличии высказываемого от сопровождающих жестов (в широком смысле) основана и характерная черта комизма, которая описывается как его «бесстрастность» («Trockenheit»).

⁷⁴ «Толкование сновидений». С. 263 (3-е изд.). «Современные проблемы». Москва, 1913.

⁷⁵ В высшей степени замечательное и до сих пор еще недостаточно известное соотношение противоположных связей в бессознательном имеет, конечно, значение для понимания «негативизма» у невротиков и душевнобольных. (Ср. две последние работы об этом: Bleuler. «Über die negative Suggestibilität», Psych.-neurol. Wochenschrift, 1904; Otto Cross «Zur differentialdiagnostik negativistischer Phänomene», там же, далее мой реферат под заглавием «Gegensinn der Urworte», Jahrb. f. psychoanalyse II, 1910.)

изображения. Мы знаем также, что бессмысленный фасад остроты особенно подходит для повышения психической затраты у слушателя и увеличивает, таким образом, то количество энергии, которое освобождается во время смеха и предназначено к отреагированию. Но, кроме того, мы не забываем, что бессмыслица в остроте является самоцелью, так как стремление сызнова извлекать прежнее удовольствие от бессмыслицы относится к мотивам работы остроумия. Существуют другие пути, для того чтобы вновь создать бессмыслицу и извлечь из нее удовольствие. Карикатура, преувеличение, пародия и шарж пользуются ею и создают, таким образом, «комическую бессмыслицу». Если мы подвергнем все эти формы выражения такому же анализу, какой проделали над остротой, то найдем, что все они не дают никакого повода привлечь для их объяснения бессознательные процессы в нашем значении. Мы теперь понимаем также, почему характерная черта «остроумного» может входить как составная часть в карикатуру, преувеличение, пародию: это возможно из-за отличия одной «психической арены» от другой⁷⁶.

Я полагаю, что перемещение остроты в систему бессознательного стало для нас гораздо более ценным, когда оно открыло нам понимание того факта, что технические приемы, с одной стороны, присущие остроумию, с другой — не являются его исключительным достоянием. Некоторые сомнения, разрешение которых мы во время нашего начального исследования этих технических приемов должны были отложить на некоторое время, именно теперь удобнее всего рассеять. Тем большего внимания с нашей стороны заслуживает суждение, которое подтвердило бы нам, что неоспоримо существующее отношение остроты к бессознательному правильно только для некоторых категорий тенденциозного остроумия, в то время как мы готовы распространить это отношение на все виды и ступени развития остроумия. Мы не можем уклониться от проверки этого положения.

Можно с уверенностью предположить, что образование остроты происходит в бессознательном в том случае, если речь идет об остротах, обслуживающих бессознательные или усиленные бессознательной сферой тенденции; следовательно, о большинстве «циничных» острот. Тогда именно бессознательная тенденция притягивает предсознательную мысль к себе в область бессознательного, чтобы преобразовать ее там. Это процесс, многочисленные аналогии с которым известны из учения о психологии неврозов. При тенденциозных остротах другого рода, при безобидной остроте и шутке эта, влекущая в область бессознательного сила отпадает. Следовательно, вопрос об отношении остроты к бессознательному остается открытым.

Но рассмотрим теперь случай остроумного выражения мысли, которая сама по себе не лишена ценности и всплывает в связи с мыслительными процессами. Для превращения этой мысли в остроту, очевидно, нужно, чтобы произошел выбор между всеми возможными формами выражения, с тем чтобы была найдена именно та, которая доставляет выигрыш удовольствия от слов. Мы знаем из нашего самонаблюдения, что несознательное внимание само производит этот выбор. Но для такого выбора будет только полезно, если активность (*Besetzung*) предсознательной мысли будет низведена до степени бессознательной мысли, так как в бессознательном связующие пути, исходящие от слова, трактуются одинаково с вещественными связями, как мы узнали из анализа работы сна. Бессознательная активность представляет гораздо более благоприятные условия для выбора такого выражения. Мы можем, впрочем, предположить без дальнейших рассуждений, что эта возможность найти выражение, которое заключало бы в себе выигрыш удовольствия от слов, влечет колеблющуюся еще решимость предсознательной мысли в область бессознательного точно таким же образом, как и бессознательная тенденция в первом случае. В более простом случае шутки мы должны себе представить, что находящееся всегда на страже стремление добиться выигрыша удовольствия от слов овладевает поводом, который дан именно в предсознательной, вовлечь опять-таки по известной схеме процесс активности

⁷⁶ Выражение Г.Т. Фехнера, которое стало весьма важным для моей трактовки.

(Besetzungsvorgang) в область бессознательного.

Я очень хочу, чтобы мне удалось по возможности яснее изложить этот решительный пункт в моем понимании остроумия и подкрепить его вескими аргументами. Но на самом деле речь идет здесь не о двоякой, а об одной и той же неудаче. Я не могу дать более ясного изложения, так как не имею дальнейших доказательств моего понимания остроумия. Это понимание родилось у меня из изучения техники и из сравнения с работой сна, и только именно с этой одной стороны. Я могу найти, что оно в целом отлично согласуется со всеми особенностями остроумия. Это понимание явилось результатом умозаключения. Если такое заключение приводит нас не к известной, а, напротив, к чуждой, новой для мышления области, то такой вывод называют «гипотезой». Отношение гипотезы к материалу, из которого она выведена, справедливо не считают доказательством. Доказанной ее считают только тогда, когда к ней приходят другим путем, когда ее можно доказать как узловой пункт и для других связей. А такое доказательство нельзя получить при нашем едва только начинающемся познании бессознательных процессов. Признавая, что мы вообще пока стоим на нетронутой почве, мы довольствуемся, таким образом, тем, что, с точки зрения нашего наблюдения, перебрасываем один-единственный узкий и шаткий мостик к непостижимому.

Но не будем делать широких выводов. Если мы приведем в связь различные ступени остроумия с благоприятными для них душевными установками, то сможем сказать приблизительно следующее. Шутка вытекает из веселого настроения, которому свойственна склонность к понижению психических инстанций (Besetzungen). Она пользуется уже всеми характерными техническими приемами остроумия и выполняет основное условие остроумия, совершая выбор такого словесного материала или такой мыслительной связи, которая может удовлетворить требованиям, необходимым для получения удовольствия, равно как и требованиям рассудительной критики. Мы сделаем вывод, что понижение мыслительной инстанции вплоть до бессознательной ступени облегчается благодаря веселому настроению и происходит уже при шутке. Для безобидной, но связанной с выражением ценной мысли остроты отпадает это содействие, оказываемое настроением. Мы должны предположить здесь особое личное качество, получающее выражение в той легкости, с какой покидается предсознательная инстанция и на какой-то момент заменяется бессознательной. Находящаяся всегда на страже тенденция к возобновлению первоначального выигрыша удовольствия от остроты влечет в область бессознательного еще колеблющееся предсознательное выражение мысли. В веселом настроении большинство людей способны создавать шутки. Умение острить независимо от настроения свойственно лишь немногим лицам. Наконец, сильнейшим стимулом к работе остроумия служит наличие сильных тенденций, простирающихся вплоть до области бессознательного, проявляющих особую склонность к остроумному творчеству и указывающих нам на то, что субъективные условия остроумия бывают выполнены очень часто у невротиков. Под влиянием сильных тенденций может стать остроумным и такой человек, которому раньше это было несвойственно.

Этим последним вкладом, хотя еще и оставшимся гипотетическим, объяснение работы остроумия у первого лица исчерпывает, строго говоря, наш интерес к остроте. Нам остается еще провести краткое сравнение остроты со сновидением, которое лучше изучено. Этому сравнению мы предпошли ожидание того, что эти два столь отличных друг от друга душевных механизма наряду с нашедшей уже свою оценку аналогией должны иметь еще и некоторые отличия. Важнейшее отличие заключается в их социальном соотношении. Сновидение является совершенно асоциальным душевным продуктом. Оно не может ничего сказать другому человеку. Возникая внутри личности, как компромисс борющихся в ней душевных сил, оно остается непонятым даже для самой этой личности, и потому совершенно неинтересно для другого человека. Дело не только в том, что оно не придает никакой цены своей удобопонятности. Оно должно даже опасаться того, чтобы быть понятым, так как в противном случае было бы разрушено. Оно может существовать только в замаскированном виде. Поэтому сновидение должно беспрепятственно пользоваться механизмом, управляющим бессознательными душевными процессами вплоть до искажения,

которое больше не может быть восстановлено. Острота является, наоборот, самым социальным из всех душевных механизмов, направленных на получение удовольствия. Она нуждается часто в трех лицах и требует для своего выражения участия другого человека в стимулируемом ею душевном процессе. Она должна быть связана, следовательно, условием удобопонимания. Должна претендовать на возможное в бессознательной сфере искажение путем сгущения и передвигания только в таких размерах, в каких это искажение может быть восстановлено пониманием третьего лица. В остальном и острота, и сновидение выросли совершенно в различных областях душевной жизни, и их следует отнести к отдаленным друг от друга пунктам психологической системы. Сновидение все еще является желанием, хотя это желание и стало неузнаваемым. Острота является высшей стадией игры. Сновидение, несмотря на свое практическое ничтожество, имеет отношение к крупным жизненным интересам. Оно стремится удовлетворить потребности человека регрессивным окольным путем галлюцинации, и оно обязано своим существованием единственно живой, во время ночного состояния, потребности спать. Острота, наоборот, старается извлечь удовольствие из одной только деятельности нашего душевного аппарата, свободной от потребностей. Впоследствии она старается получить такое удовольствие, как побочный результат, сопровождающий деятельность этого аппарата. И, таким образом, она вторично приходит к функциям, не лишенным важности и обращенным к внешнему миру. Сновидение служит преимущественно стремлению избежать неудовольствия, острота — получению удовольствия. Но в обеих этих целях совпадают все виды нашей душевной деятельности. '

VI. Остроумие и все виды комического

Мы очень близко подошли к проблемам комического. Нам показалось, что остроумие, которое рассматривалось как подвид комизма, имело довольно много особенностей, для того чтобы непосредственно с него начать исследование. И, таким образом, мы избегали его отношения к более объемлющей категории комического до тех пор, пока это было возможно; но не без того, чтобы попутно не делать важных для комизма указаний. Мы без труда установили, что комическое занимает в социальном отношении несколько иное положение, чем острота. Оно может удовлетвориться только двумя лицами: одним, которое находит комическое, и вторым, в котором находят комическое. Третье лицо, которому сообщают комическое, усиливает комический процесс, но не прибавляет к нему ничего нового. При остроумии третье лицо необходимо для того, чтобы совершился доставляющий удовольствие процесс. Напротив того, второе лицо может отсутствовать там, где речь не идет о тенденциозной, агрессивной остроте. Остроту создают, а комическое находят. И прежде всего его находят в людях и лишь в дальнейшем его переносят на объекты, ситуации и т. п.

Об остроте мы знаем, что не посторонние лица, а собственные мыслительные процессы, способствующие созданию остроты, скрывают в себе источники удовольствия. Мы слышали далее, что острота может иногда вновь открывать ставшие недоступными источники комизма; что комическое служит часто остроте фасадом и заменяет ей предварительное удовольствие, создающееся в ином случае с помощью известных технических приемов. Все это указывает на не совсем простые отношения между остроумием и комизмом. С другой стороны, проблемы комического оказались столь сложными, а все попытки философов разрешить эти проблемы оказались столь безуспешными, что мы не могли ожидать разрешения их как бы по мановению руки, если подойдем к ним со стороны остроумия. Для исследования остроумия мы привнесли орудие, которое не служило еще другим исследователям, а именно — знание работы сна. При исследовании комического в нашем распоряжении нет такого преимущества. Поэтому мы должны ожидать, что не узнаем о сущности комизма ничего иного кроме того, что уже знаем об остроте, поскольку острота относится к разряду комического и несет в своей собственной сущности неизменными или модифицированными определенными чертами комизма.

Наивное является тем видом комического, которое ближе всего стоит к остроте. В

общем, наивное так же, как и комическое, находят, а не создают, как остроту. Наивное вообще не может быть создано, в то время как при рассмотрении чисто комического учитывается и создание комического,⁷⁷ и искусственное вызывание комизма. Наивное должно вытекать без нашего доказательства из речей и поступков других лиц, которые стоят на месте второго лица в комизме или остроумии. Наивное возникает тогда, когда кто-нибудь совершенно пренебрегает задержкой, потому что она у него не существует, и когда он, следовательно, преодолевает ее без труда. Условием действия наивного является знание нами того, что у человека нет этой задержки. В противном случае мы называем его не наивным, а дерзким, и не смеемся, а возмущаемся им. Действие наивного неотразимо и простое для понимания. Психическая затрата, производимая обычно нами для сохранения задержки, внезапно становится ненужной при выслушивании наивной речи, и это отреагируется в схеме. Отвлечение внимания является при этом ненужным, вероятно, потому, что упразднение задержки происходит непосредственно, а не путем вынужденной операции. Мы ведем себя при этом аналогично третьему лицу в остроте, которое без всяких усилий со своей стороны получает как бы подарок в виде экономии психической энергии, затрачивающейся на сохранение задержки.

Поняв генезис задержек, прослеженный нами при развитии игры в остроту, мы не будем удивлены тем обстоятельством, что наивное находят чаще всего у ребенка; затем у необразованного взрослого человека, которого мы считаем ребенком по его интеллектуальному развитию. Для сравнения с остротой более пригодны, разумеется, наивные речи, чем наивные поступки, так как обычными формами выражения остроумия тоже являются не поступки, а речи. Характерно, что наивные речи детей можно без натяжки назвать «наивными остротами». Аналогия между остротой и наивностью, а также выяснение разницы между ними будет очевиднее для нас на нескольких примерах.

«Девочка трех с половиной лет предостерегает своего брата: «Не ешь столько, а то заболеешь и должен будешь принять Bubizin». «Bubizin? — спрашивает мать. — А что это такое?» «Когда я была больна, — оправдывается ребенок, — я ведь должна была принимать Madizin»⁷⁷. Ребенок полагает, что прописанное ей врачом лекарство называется Madizin, потому что оно предназначено для девочки (Madi). И делает вывод, что оно будет называться Bubizin, если его должен будет принимать мальчик (Bubi). Это сконструировано, как словесная острота, работающая с помощью техники созвучия. Ее можно бы считать и настоящей остротой. В таком случае мы полунеохотно одарили бы ее улыбкой. Как пример наивности она кажется нам отличной и заставляет нас громко смеяться.

Но что отличает в этом случае остроту от наивного суждения? Очевидно, не текст и не техника, которые одинаковы и для той, и для другого, а какой-то момент, лежащий, на первый взгляд, довольно далеко от обоих возможностей. Речь идет только о том, предполагаем ли мы, что говорящее лицо имело в виду остроту или что оно (в данном случае — ребенок) искренне хотело сделать серьезный вывод, основываясь на своем некоррегированном неведении. Только последний случай является наивностью. Мы здесь впервые обращаем внимание на такую идентификацию другого человека путем прочувствования психического процесса у человека, создающего остроту или наивное суждение. Исследование второго примера подтвердит это понимание.

«Брат и сестра, 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, разыгрывают ими самими сочиненную пьеску перед аудиторией, состоящей из их дядюшек и тетюшек. Сцена изображает хижину на морском берегу. В первом акте оба поэта-артиста, бедный рыбак и его бойкая жена, жалуются на тяжелое время и плохие барыши. Муж решает уехать на своей лодке в далекое море, чтобы поискать богатства в другом месте. После нежного прощанья супругов занавес падает. Второй акт изображает действие несколько лет спустя. Рыбак, став богатым человеком, вернулся с большой мошной и рассказывает жене, которую он заста

⁷⁷ Madi — девочка, Bubi — мальчик.

ожидающей его перед хижинкой, о том, как повезло ему на чужбине. Жена гордо перебивает его: «А я в это время тоже не ленилась», и открывает его глазам хижину, в которой видны лежащие на полу двенадцать больших кукол, изображающие детей...» В этом месте пьесы бурный смех зрителей прервал артистов, которые не могли объяснить себе этого смеха. Они смущенно уставились на своих любимых родственников, которые до сих пор вели себя хорошо и слушали внимательно. Этот смех объясняется предположением зрителей, что юные писатели ничего еще не знают об условиях происхождения детей и поэтому могут думать, что женщина должна гордиться потомством, рожденным ею во время продолжительного отсутствия мужа, и муж может радоваться этому потомству. Но то, что создано писателями на основании такого неведения, может быть названо бессмыслицей, абсурдностью.

Третий пример покажет нам, что еще один технический прием, изученный нами при остроумии, обслуживает наивное.

«К маленькой девочке в качестве гувернантки принята француженка, которая девочке не понравилась. Едва только вновь приглашенная француженка удалась из комнаты, девочка начала вслух критиковать ее: «Тоже, француженка! Быть может, она называется так потому, что она когда-нибудь лежала возле француза!» Это могло бы быть сносной остротой — двусмысленностью с двояким толкованием или двояко толкуемым намеком, — если бы ребенок мог иметь представление о двусмысленности. В действительности, она перенесла только часто слышанное ею определение подделок на несимпатичную ей иностранку. («Разве это настоящее золото? Быть может, это когда-нибудь лежало возле золота!») В силу этого неведения ребенка, которое так резко изменяет психический процесс у слушателей, его речь становится наивной. Но в силу этого условия существует и ложно наивное. У ребенка можно предполагать неведение, которого больше не существует. Дети часто имеют обыкновение притворяться наивными, чтобы воспользоваться свободой, которая в противном случае не была бы им позволена.

На этих примерах можно выяснять, что наивное занимает среднее место между остроумием и комическим. Наивное аналогично остроте по тексту и содержанию. Оно злоупотребляет словами, создает бессмыслицу или сальность. Но психический процесс у первого создающего лица, который представил при остроумии столько интересного и загадочного, отпадает здесь целиком. Наивный человек думает, что он нормально и просто пользуется своими средствами выражения и мыслительными путями. Он ничего не знает о побочной цели. Он также не извлекает никакого удовольствия из творчества наивного. Все характерные черты наивного существуют только в понимании слушателя, который соответствует третьему лицу в остроте. Далее, творящее лицо создает наивное без труда. Сложная техника, свойственная остроте, для того чтобы парализовать задержку разумной критикой, отпадает при наивном, так как у наивного человека нет еще этой задержки, и он может, следовательно, непосредственно и без компромисса преподнести бессмыслицу и сальность. В этом отношении наивное в остроте является пограничным случаем, который достигается, если в формуле образования остроты снизить размер цензуры до нуля.

Если дая действия остроты необходимым условием являлось наличие у обоих лиц одинаковых приблизительно задержек или внутренних сопротивлений, то условием для наивного можно, следовательно, считать наличие у одного лица таких задержек, которых нет у другого. Лицо, имеющее задержку, слушает и понимает наивное.

Исключительно оно получает удовольствие, доставляемое наивным, и мы легко догадываемся, что это удовольствие возникает из-за упразднения задержек. Так как удовольствие от остроты имеет то же самое происхождение — ядро удовольствия от слов и бессмыслицы и оболочку удовольствия от упразднения задержек и облегчения психической затраты, — то на этом тождественном отношении к задержке основано внутреннее родство наивного с остротой. В обоих случаях удовольствие возникает из-за упразднения внутренней задержки. Но психический процесс у воспринимающего лица (с которым при наивном всегда совпадает наше Я, в то время как при остроте мы можем поставить себя и на место

создающего лица) в случае наивного суждения тем сложнее, чем проще в случае с остротой психический процесс у творящего лица. На воспринимающее лицо выслушанное наивное суждение действует, как острота. Об этом могут свидетельствовать наши примеры, так как для наивного суждения, как и при остроте, создана возможность упразднения цензуры благодаря одному только выслушиванию. Только одна часть удовольствия, доставляемого наивным, допускает такое объяснение. Но даже эта часть в иных случаях наивного суждения, как, например, при выслушивании наивной сальности, подвержена опасности. На наивную сальность можно было бы без всяких рассуждений реагировать таким же негодованием, которое подымается и против настоящей сальности, если бы другой момент не избавлял нас от этого негодования и не доставлял нам одновременно более значительную часть удовольствия от наивного.

Этот другой момент дан нам вышеуказанным условием, по которому нам для распознавания наивного должно быть известно, что у создающего лица отсутствует задержка. Только тогда, когда мы уверены в этом, мы смеемся, вместо того чтобы возмущаться. Мы, следовательно, принимаем во внимание психическое состояние создающего лица, мысленно переносимся в такое же состояние, стараемся понять его, сравнивая с нашим состоянием. В результате такой идентификации и сравнения получается экономия затраты, которую мыотреагируем в смехе.

Можно было бы предпочесть более простое объяснение: если человеку не нужно преодолевать никакой задержки, то наше негодование излишне, и смех, следовательно, происходит якобы за счет негодования, от которого мы избавлены. Чтобы устранить это неправильное, в общем, понимание, я хочу резче отделить друг от друга два случая, которые объединил в предшествующем изложении. Наивное, выступающее перед нами, может иметь либо природу остроты, как в наших примерах, либо природу сальности или вообще непристойности, что особенно справедливо для случаев, когда наивное проявляется не в речах, а в поступках. Такие случаи, действительно, могут ввести нас в заблуждение. Для них можно было бы предположить, что удовольствие возникает из сэкономленного и испытывавшего превращение негодования. Но первый случай поясняет нам, что наивная речь, например, о Bubizin'e, может сама по себе действовать как легкая острота и не давать никакого повода к негодованию. Это, конечно, более редкий, но более чистый и более поучительный случай. Когда мы думаем о том, что ребенок серьезно и без побочной цели считал слоги «MacP» в слове «Madizin» идентичными со своим собственным названием «Madi» (девочка), то наше удовольствие от слышанного увеличивается. Причем это увеличение не имеет ничего общего с удовольствием от остроты. Мы рассматриваем теперь сказанное с двух точек зрения: один раз так, как оно получилось у ребенка, а затем так, как оно получается у нас. Мы находим при этом сравнении, что ребенок нашел нечто идентичное, преодолел рамки, существующие для нас. А затем мы как будто говорим себе: если ты хочешь понять слышанное, то можешь сэкономить затрату, уходящую на удержания этих рамок. Затрата, освобожденная при таком сравнении, является источником удовольствия от наивного иотреагируется в смехе. Это, разумеется, та же самая затрата, которую мы превратили бы в негодование, если бы наше понимание создающего лица, а также и характер сказанного в данном случае не исключали такого негодования. Но если мы берем случай наивной остроты как образец для другого случая наивной непристойности, то мы видим, что и здесь экономия от задержки может непосредственно вытекать из сравнения. Поэтому у нас нет необходимости предполагать начавшееся и подавленное затем негодование, и это негодование соответствует только иному применению освобожденной затраты, против чего при остроте необходимы были сложные предохранительные приспособления.

Это сравнение, эта экономия затраты при мысленном перенесении в душевный процесс, происходящий у создающего лица, могут иметь только тогда значение для наивного, если они свойственны не только ему одному. В действительности у нас возникает предположение, что этот механизм, совершенно чуждый остроте, является частью, быть

может существенной частью, психического процесса при комизме. С этой стороны оно представляет собой, следовательно, вид комизма. И это, вероятно, важнейшая оценка наивного. То, что в наших примерах присоединяется от наивных речей к удовольствию от остроты, является «комическим» удовольствием. Об этом удовольствии мы были бы склонны вообще предположить, что оно возникает из сэкономленной затраты при сравнении проявлений другого человека с нашими проявлениями. Но так как мы стоим здесь перед очень широкими перспективами, то закончим сначала оценку наивного. Итак, наивное является видом комизма в том отношении, что его удовольствие вытекает из разницы в затрате, которая получается при желании понять другого человека. Оно приближается к остроте по условию, согласно которому сэкономленная при затрате энергия должна быть затратой, расходованной на сохранение задержек⁷⁸.

Выясним еще некоторые аналогии и некоторые отличия между теми понятиями, к которым мы, наконец, пришли, и теми, которые издавна известны в психологии комизма. Вживание в психический процесс другого человека, желание понять его являются, очевидно, ничем иным, как «заимствованием комизма», играющим со времени Жана Поля свою роль в анализе комического. Сравнение душевного процесса у другого человека со своим собственным душевным процессом может выявить «психологический контраст», для которого мы нашли, наконец, здесь место. Как подойти к нему при анализе остроты, мы не знали.

Но в объяснении комического удовольствия мы расходимся со многими авторами, по мнению которых удовольствие должно возникать от колебания внимания между контрастирующими представлениями. Мы такого механизма удовольствия не можем понять. Мы указываем на то, что при сравнении контрастов в результате получается разница в затрате. Если эта разница не получает никакого иного применения, то она бывает способна к отреагированию, отчего становится источником удовольствия⁷⁹.

К самой проблеме комического мы подходим с некоторой робостью. Слишком смело было бы ожидать, что наши исследования могут дать руководящую нить к ее разрешению, после того как работы огромного ряда отличных мыслителей не дали в результате удовлетворительного объяснения ее. Мы фактически лишь задались целью глубже проследить в области комического ту точку зрения, которая показалась нам ценной для нашего понимания остроумия.

Комическое можно считать, прежде всего, случайной находкой в социальных отношениях между людьми. Его находят всюду: в движениях людей, формах, поступках и характерных чертах — первоначально, вероятно, только в телесных, а впоследствии и в душевных качествах людей, предпочтительно в их поведении. Благодаря очень употребительному приему персонификации, комическое стали находить затем также у животных и в неодушевленных предметах. Однако комическое обладает способностью отделяться от людей, когда распознано то условие, при котором личность становится комичной. Так возникает комизм ситуации, когда понимание этого условия дает возможность, при желании, сделать человека комичным, ставя его в такие ситуации, в которых к его действиям присоединяются эти условия комического. Знание того, что человек может по своей воле сделать другого комичным, открывает доступ к неожиданному выигрышу комического удовольствия и дает начало высоко развитой технике. И себя самого

⁷⁸ Я везде отождествлял здесь наивное с наивно-комическим, что, конечно, не всегда допустимо. Но для наших целей достаточно изучить характерные черты наивного на «наивной остроте» и на «наивной сальности». Дальнейшее исследование имело бы целью, исходя из этого, обосновать сущность комического.

⁷⁹ Бергсон (*Le rire*, 1904) тоже отрицает такое происхождение комического удовольствия, которое, несомненно, обусловлено стремлением создать аналогию со смехом от щекотки. Совершенно на ином уровне стоит объяснение комического удовольствия у Липпса: согласно его пониманию комизма такое удовольствие можно было бы назвать «неожиданной мелочью».

можно сделать столь же комичным, как и другого человека. Приемы, служащие для создания комизма, — это перенесение в комические ситуации, подражание, переодевание, разоблачение, карикатура, пародия, костюмировка и др. Само собою разумеется, что эти приемы могут обслуживать враждебные и агрессивные тенденции. Можно сделать комичным человека, чтобы унижить его, проявить к нему неуважение, подорвать его авторитет. Но если бы даже такие цели всегда лежали в основе искусственно вызванного комизма, все же не в этом заключается смысл комизма самопроизвольного.

Из этого сделанного нами обзора различных видов комизма мы уже видим, как разнообразны источники его происхождения, и узнаем, что при комическом нельзя ожидать столь специализированных условий, как, например, при наивном. Чтобы напасть на след условия, имеющего основание для комизма, самым важным является выбор исходного случая. Мы выбираем комизм движений, так как вспоминаем, что примитивнейшие сценические постановки (пантомимы) пользуются этим средством, чтобы вызвать у нас смех. На вопрос, почему мы смеемся над движениями клоуна, ответ будет гласить: потому что они кажутся нам чрезмерными и нецелесообразными. Мы смеемся над слишком большой затратой. Поищем это условие вне комизма, созданного искусственно, то есть там, где он не является преднамеренным. Движения ребенка не кажутся нам комическими, хотя он вертится и прыгает. Наоборот, комично, когда ребенок, учась писать, сопровождает движения ручки движениями высунутого языка. Мы видим в этих сопутствующих движениях излишнюю двигательную затрату, которую мы, взрослые, при той же работе сэкономили бы. Таким же образом другие сопутствующие движения или просто даже чрезмерная жестикуляция кажутся нам комичными у взрослых. Таковы совершенно чистые случаи этого вида комизма движений, которые совершает человек, бросающий кегельный шар, после того как он уже выпустил шар и сопровождает бег этого шара движениями, как будто он может еще дополнительно регулировать этот бег. Так же комичны гримасы, преувеличивающие нормальное выражение душевных движений, причем комичны даже тогда, когда они появляются непроизвольно, как, например, у лиц, страдающих пляской св. Витта. Так, страстные движения современного дирижера кажутся комичными каждому немзыкальному человеку, который не может понять их необходимости. От этого комизма движений ответвляется комизм телесных форм и черт лица, которые учитываются так, как будто они являются результатом преувеличенного и бесцельного движения. Выпученные глаза, крючковатый, свисающий над ртом нос, оттопыренные уши, горб и все подобное действует комически, вероятно, только потому, что они отображают движения, которые необходимы для проявления этих черт. Причем нос, уши и другие части тела в представлении кажутся более подвижными, чем это есть на самом деле. Без сомнения, комично, если кто-нибудь умеет двигать ушами и, конечно, было бы еще комичнее, если бы он умел опускать и поднимать нос. Добрая часть комического действия, производимого на нас животными, происходит от восприятия таких движений у них, которым мы не можем подражать.

Но каким образом мы приходим к смеху, если считаем движения другого человека чрезмерными и нецелесообразными? Я думаю, что путем сравнения между тем движением, которое я наблюдаю у другого, и тем движением, которое я сам сделал бы на его месте. Обе сравниваемые величины должны, разумеется, измеряться одной и той же мерой. И этой мерой является моя затрата иннервации, связанная с представлением о движении как в одном, так и в другом случае. Это положение нуждается в объяснении и дальнейшей детализации.

Мы привели здесь в связь друг с другом, с одной стороны, психическую затрату при механизме представления, с другой — содержание этого представления. Наше утверждение сводится к тому, что психическая затрата непостоянна и принципиально независима от содержания представления. И особенно следует подчеркнуть, что представление взрослого требует большей затраты в сравнении с представлением ребенка. Покуда речь идет только о представлении движений различной величины, теоретическое обоснование нашего

положения и доказательство его путем наблюдения не представляет никаких трудностей. Окажется, что в этом случае действительно совпадает качество представления, как определенной психической формы, с качеством представленного, хотя психология и предостерегает нас от такого смешивания.

Представление о движении определенной величины я получил тогда, когда совершал это движение или подражал ему. И во время этого акта я изучил меру для этого движения в моих иннервационных ощущениях⁸⁰.

Когда я воспринимаю подобное движение большей или меньшей величины у другого человека, то вернейший путь к пониманию его — к апперцепции — заключается в том, что я, подражая, совершаю это же движение и могу затем путем сравнения решить, при каком движении моя затрата была больше. Такое стремление к подражанию определенно наступает при восприятии движений. Но в действительности я не произвожу подражания, как и не читаю больше по отдельным звукам, после того как научился читать по слогам. Вместо подражания движению, выполняемому моими мышцами, я вызываю у себя представление о нем при помощи следов своих воспоминаний о затратах, произведенных при подобных движениях. Процесс представления, или «мышление», отличается от действия или поступка прежде всего тем, что он приводит в движение гораздо меньшее количество активной энергии и не расходует главную затрату. Но каким образом количественный момент — большая или меньшая величина — воспринятого движения получает выражение в представлении? И если изображение количества отпадает в представлении, сложившемся из качеств, то как я затем могу различать между собой представления о движениях разной величины, то есть проводить то именно сравнение, которое имеет здесь место?

В этом отношении путь указывает нам физиология, которая учит, что и во время процесса представления происходят иннервации к мышцам. Они сопровождаются, разумеется, только небольшой затратой. Но теперь очень легко предположить, что эта затрата иннервации, сопровождающая представление, употребляется для изображения количественного фактора представления, что она больше тогда, если представляют себе большое движение, чем тогда, когда речь идет о небольшом движении. Следовательно, представление о большом движении является, действительно, большим, то есть представлением, сопровождающимся большей затратой.

Наблюдение непосредственно показывает, что люди привыкли давать в содержании своих представлений выражение большому и малому путем различной затраты как бы в мимике представлений.

Когда ребенок или человек из народа, или человек, принадлежащий к определенной расе, что-то рассказывает или описывает, то можно легко заметить, что он не довольствуется пояснением слушателю своего представления путем точного словесного изложения, но изображает содержание этих слов жестами. Он объединяет мимическое изложение со словесным. Он отмечает сразу и количество, и интенсивность. «Высокая гора» — и при этом он приподымает руку над своей головой; «маленький карлик» — при этом он держит ее низко над землей. Если бы он отвык от жестикуляции руками, то все-таки продолжал бы делать это голосом. А если он научится владеть интонацией, то можно быть уверенным, что при изображении чего-либо большого он широко раскроет глаза, а чего-то маленького — зажмурит их. Это не аффекты, которые он проявляет таким образом; это действительно содержание того, что он представляет себе.

Нужно ли предположить, что эта потребность в мимике пробуждается лишь условиями

⁸⁰ Воспоминание об иннервационной затрате останется существенной частью представления об этом движении. В моей душевной жизни всегда будут существовать такие виды мышления, в которых представление будет олицетворяться именно этой затратой. В других связях может происходить даже замена этого элемента другими; например, зрительными представлениями цели движения, словесными представлениями, а при некоторых видах абстрактного мышления бывает достаточно одной черточки вместо полного содержания представления.

словесной передачи своей мысли другому лицу, если большая часть этого способа выражения все равно ускользает от внимания слушателя? Я думаю, что, наоборот, эта мимика, хотя и менее живая, существует помимо всякого рассказывания. Она проявляется даже тогда, когда человек просто представляет себе что-то, когда он наглядно мыслит. Человек по-разному выражает большое и малое при помощи телесных проявлений, то есть так же, как во время разговора, — по крайней мере, изменением иннервации в чертах своего лица и в органах чувств. Я могу представить себе даже, что телесная иннервация, соответствующая содержанию представлений, была начальным источником мимики для словесной передачи. Она должна была только усилиться, сделаться явно заметной для другого человека, чтобы иметь возможность служить этой цели. Я защищаю, таким образом, тот взгляд, что к «выражению душевных переживаний», при помощи тех или иных побочных телесных проявлений душевных процессов, должно быть присоединено и это «выражение содержания представлений». При этом мне, конечно, ясно, что мои замечания относительно категории большого и малого не исчерпывают всей темы. Я сам мог бы сделать еще несколько таких замечаний, прежде чем перейти к феноменам напряжения, которыми человек телесно проявляет фиксацию своего внимания и уровень абстракции, на котором пребывает его мышление. Я считаю этот факт очень важным и думаю, что исследование мимики представлений в других областях эстетики тоже могло быть полезно, как в данном случае для понимания комического.

Чтобы вернуться к комизму движений, я повторяю, что восприятие определенного движения дает импульс к его представлению с помощью известной затраты энергии. Следовательно, при «желании понять», то есть при апперцепции этого движения, я произвожу определенную затрату — поступаю при этой части душевного процесса так, как будто ставлю себя на место наблюдаемого лица. Но, вероятно, я в то же время обращаю внимание на цель этого движения и могу, опираясь на предшествующий опыт, оценить размеры той затраты, которая обычно бывает необходима для достижения этой цели. При этом я не принимаю во внимание наблюдаемое лицо и веду себя так, как будто я сам хотел достичь цели движения. Обе указанные возможности приводят к сравнению наблюдаемого движения с моим собственным. При чрезмерном и нецелесообразном движении другого человека мне трудно понять *in statu nascendi* (как будто в момент мобилизации) мою увеличенную затрату. Она учитывается мною как излишняя и становится свободной для другого применения, смотря по обстоятельствам; например, для отреагирования в смехе. Если присоединяются другие благоприятные условия, то таким путем возникает удовольствие от комического движения, происходит затрата иннервации, которая дает при сравнении со своим собственным движением излишек, не нашедший себе применения.

Мы замечаем теперь, что продолжаем наши рассуждения в двух различных направлениях: во-первых, чтобы выяснить условия для отреагирования излишка; во-вторых, чтобы проверить, можно ли понимать другие случаи комизма так же, как и комизм движений.

Мы обратимся сначала к последней задаче и рассмотрим после комизма движения и действия тот комизм, который можно найти в душевных процессах и чертах характера у других людей.

За образец этого вида можно взять комическую бессмыслицу, которая создается во время экзамена неподготовленными кандидатами. Дать простой пример для черт характера, конечно, труднее. Но бессмыслица и глупость, оказывающие так часто комическое действие, все же не во всех случаях воспринимаются, как нечто комическое. Точно так же одни и те же характерные черты, над которыми мы иной раз смеемся как над комическими, в другой раз кажутся нам заслуживающими презрения или ненависти. Этот факт, на который мы не можем не обратить внимания, указывает, однако, лишь на то, что при комическом действии учитываются еще и другие соотношения, кроме соотношений известного нам сравнения. Эти условия мы сможем проследить в другой связи.

Комическое, которое находят в умственных и душевных качествах другого человека,

является, очевидно, опять-таки лишь результатом сравнения между ним и моим Я. Но поразительно, что это сравнение дает нам результат диаметрально противоположный тому, который получался в случае комического движения или действия. В этом последнем случае было комично, когда другой человек производил большую затрату, чем это считал бы необходимым произвести я. В случае душевного процесса, наоборот, комично, когда другой человек экономит затрату, которую, по моему мнению, необходимо произвести, ибо бессмыслица и глупость являются малоценными продуктами. В первом случае я смеюсь, потому что он слишком усложнил себе задачу, а во втором — потому что он слишком облегчил ее себе. Следовательно, сущность комического действия заключается, по-видимому, только в разнице между обеими затратами энергии — затратой «вчувствования» и затратой моего Я. Но эта странность, которая сначала запутывает наше суждение, исчезает, если мы примем во внимание, что ограничение нашей мышечной работы и увеличение нашей мыслительной деятельности лежит в направлении нашего личного развития к высшей культурной ступени. Повышение нашей мыслительной затраты помогает нам уменьшить наши двигательные затраты в одном и том же процессе. Доказательством этого культурного успеха являются наши машины⁸¹.

Итак, в единое понимание укладывается тот факт, что комичным нам кажется человек, производящий в сравнении с нами слишком много затрат для своих телесных отправок и слишком мало — для душевных. И нельзя отрицать того, что в обоих случаях наш смех является выражением превосходства, которое мы ощущаем над ним и приписываем себе с чувством удовольствия. Если имеется обратное соотношение обоих случаев и соматическая затрата другого человека меньше нашей, а его душевная затрата больше нашей, тогда мы уже не смеемся; тогда мы удивляемся и изумляемся⁸².

Обсуждавшийся здесь источник комического удовольствия, вытекающего из сравнения другого человека с моим собственным Я — из разницы между затратой вчувствования и моей собственной затратой — является генетически, вероятно, самым важным; но, несомненно, не единственным. Мы уже указывали однажды, что можно не проводить сравнения между другим человеком и между Я и получить такую доставляющую удовольствие разницу только от одного из двух элементов: или от вчувствования, или от процессов в моем собственном Я. Это является доказательством того, что чувство превосходства не имеет существенного отношения к комическому удовольствию. Сравнение необходимо для появления этого удовольствия. Мы находим, что это сравнение имеет место между двумя затратами энергии, быстро следующими друг за другом и относящимися к одному и тому же процессу. Их мы либо создаем в себе путем вчувствования в другого человека, либо находим без такого отношения к другому человеку в наших собственных душевных процессах. В первом случае роль играет еще, следовательно, второе лицо, но только не в виде сравнения его с нашим Я. Он имеет место тогда, когда доставляющая удовольствие разница в затратах энергии создается внешними влияниями, которые мы можем объединить под названием ситуации, отчего этот вид комизма называется также «комизмом ситуации».

Качества лица, которое доставляет комизм, не принимаются при этом особенно во внимание. Мы смеемся и в том случае, когда должны признать, что в той же ситуации мы вынуждены были бы сделать то же самое. Мы извлекаем здесь комизм из отношения человека к внешнему миру, который часто оказывается сильнее его. Этим внешним миром для душевных процессов в человеке являются также условности и потребности общества и даже его собственные телесные потребности. Типический случай последнего рода мы имеем

⁸¹ «За дурною головою нет ногам покою» — гласит пословица.

⁸² Эта постоянная противоположность в условиях комизма, согласно которым то избыток, то недостаток казался источником комического удовольствия, немало способствовала запутыванию проблемы. Сравните у Липпса (1. с., с. 47).

тогда, когда боль или экскрементальная потребность внезапно мешают человеку в его деятельности, предъявляющей определенные требования к его душевным силам. Противоположностью, доставляющей нам при вчувствовании комическую разницу, является противоположность между большим интересом до помехи и минимальным интересом, проявляемым им к своей душевной деятельности, после того как наступила помеха. Человек, доставляющий нам эту разницу, явится для нас комическим опять-таки как человек униженный. Но он унижен только в сравнении со своим прежним Я, а не в сравнении с нами, так как мы знаем, что сами в подобном случае не могли бы вести себя иначе. Но достойно внимания, что мы можем считать это унижение комическим только в случае вчувствования; следовательно, только у другого человека и в то время, когда мы сами в таких и им подобных затруднительных обстоятельствах испытываем только мучительные чувства. Вероятно, лишь это отсутствие мучительного чувства у нас самих дает нам возможность считать разницу, получающуюся в результате сравнения сменяющихся количеств энергии, исполненной удовольствия.

Другой источник комизма, находимый нами в наших собственных превращениях энергии, лежит в наших отношениях к будущему, которое мы привыкли предвосхищать нашими представлениями о том, что нас ожидает. Я предполагаю, что в основе каждого нашего представления об ожидаемом событии лежит определенная количественная затрата, которая, следовательно, уменьшается в случае разочарования на определенную разницу. И я ссылаюсь здесь опять-таки на сделанные выше замечания относительно «мимики представлений». Но мне кажется, что легче доказать в случаях ожидания действительно произведенную мобилизацию затрачиваемой энергии. Для целого ряда случаев хорошо известно, что моторные приготовления создают выражение ожидания, прежде всего, для тех случаев, где ожидаемое событие требует от человека подвижности. Эти приготовления целиком поддаются комическому определению. Когда я готовлюсь поймать брошенный мне мяч, то я напрягаю в своем теле мышцы, которые способны придать мне устойчивость против удара мяча. А те излишние движения, которые я делаю, если пойманный мяч оказывается слишком легким, делают меня комичным в глазах зрителей. Из-за ожидания большей тяжести мяча я был предрасположен к чрезмерной двигательной затрате. Точно так же обстоит дело, когда я вынимаю из корзины плод, который считаю тяжелым, но который представляет собой только подделанную из воска оболочку. Моя рука подымается несоразмерно высоко и выдает этим, что я приготовил слишком большую для этой цели иннервацию, и потому надо мной смеются. Существует, по меньшей мере, один случай, в котором эта затрата ожидания может быть показана и непосредственно измерена физиологическим экспериментом над животными. В опытах Павлова над секрецией слюны собакам с фистулами слюнных желез показывали различные пищевые продукты. При этом выяснилось, что количество выделенной слюны колебалось в зависимости от того, обманули или усилили условия опыта ожидания собаки от показанной ей пищи.

Даже тогда, когда ожидаемое мною событие предъявляет требования только к моим органам чувств, а не к моей подвижности, я могу предположить, что ожидание вызывает определенное расходование моторной энергии для напряжения чувств, для недопущения других неожиданных впечатлений. Я вообще понимаю фиксацию внимания как моторный процесс, соответствующий определенной затрате. Я должен далее предположить, что подготовительная деятельность ожидания не независима от величины ожидаемого впечатления. Но мимически я представляю себе размеры этого впечатления путем большей или меньшей подготовительной затраты, не ожидая его самого и в случае рассказа, и в случае мышления. Затрата ожидания складывается, разумеется, из нескольких компонентов. И при моем разочаровании принимаются во внимание различные моменты, а не только тот факт, что случившееся эмоционально больше или меньше чем то, чего я ожидал. При этом учитывается также и то обстоятельство, заслуживает ли оно такого большого интереса, который я проявил в ожидании его. Таким образом, я приучаюсь принимать во внимание, кроме затраты энергии на изображение величины (мимика представлений), затрату на

напряжение внимания (затрата ожидания), а в иных случаях сверх того — затрату абстракции. Но все другие виды затраты можно легко привести к затрате на определение величины, так как более интересное, более яркое и даже более абстрактное являются только особо квалифицированными частными случаями величины. Если мы прибавим, что, согласно Липпсу и другим авторам, количественный — а не качественный — контраст рассматривается, в первую очередь, как источник комического удовольствия, то в целом мы будем довольны тем, что избрали комизм движения исходным пунктом нашего исследования.

Осуществляя кантовское положение, согласно которому «комическое является ожиданием, вылившимся в ничто», Липпс сделал в своей книге, неоднократно цитировавшейся здесь, попытку вывести комическое удовольствие вообще из ожидания. Несмотря на многие поучительные и ценные результаты, которые дала эта попытка, я все же могу присоединиться к высказанной другими авторами критике, согласно которой, Липпс во многом слишком узко понял область происхождения комического и не мог без большой натяжки подвести его феномены под свою формулу.

Люди не удовлетворяются тем, что наслаждаются комизмом там, где сталкиваются с ним в жизни. Они стремятся к искусственному созданию его, и о сущности комизма можно узнать больше, если изучить те средства, которые служат для его искусственного создания. Можно, прежде всего, сделать комичным самого себя, притворяясь, например, неуклюжим или глупым, чтобы развеселить других. Человек производит при этом такое же комическое впечатление, как если бы он действительно был неуклюж или глуп, и выполняет при этом условие сравнения, которое ведет к разнице в затрате. Но человек не становится из-за этого смешным или презренным. При некоторых условиях он даже вызывает восхищение. Другой человек не испытывает при этом чувства превосходства, если знает, что первый только притворяется. И это является новым веским доказательством принципиальной независимости комизма от чувства превосходства.

Удобным приемом для того, чтобы сделать комичным другого человека, служит, прежде всего, перенесение его в ситуации, в которых он становится комичным из-за своей зависимости от внешних соотношений, в особенности от социальных моментов. При этом не учитываются личные качества объекта, а просто используется комизм ситуации. Это перенесение в комическую ситуацию может быть реальным (a practical joke), когда мы, например, подставляем кому-нибудь ножку и человек падает, как будто он неуклюжий. Или мы дурачим его, пользуясь его доверчивостью и стараясь убедить его в чем-то бессмысленном и т. п. Комическую ситуацию можно создать и в воображении с помощью речи или игры. Такой прием является хорошим вспомогательным средством для агрессивности, которую обычно обслуживает создание комизма, потому что комическое удовольствие независимо от реальности комической ситуации, и каждый человек незащищен против того, чтобы стать комичным.

Существуют и другие средства искусственного создания комического, заслуживающие особой оценки и отчасти указывающие на новые источники комического удовольствия. Сюда относится, например, подражание, которое доставляет слушателям чрезвычайное удовольствие и делает комическим объект этого подражания, хотя бы последнему и было чуждо комическое преувеличение. Гораздо легче обосновать комическое действие карикатуры, чем комическое действие простого подражания. Карикатура, пародия, костюмировка и ее противоположность — разоблачение, — все они направлены против лиц и вещей, претендующих на авторитет и являющихся в каком-нибудь отношении выдающимися. Это приемы для принижения (*Herabsetzung*, как говорит удачное немецкое выражение⁸³). Выдающееся является большим в переносном психическом смысле. И я могу

⁸³ Degradation. A. Bain («The emotion and the will», 2 edit. 1865) говорит: «The occasion of the Ludicrous is the degradation of some person or interest, possessing dignity, in circumstances that excite no other strong emotion».

сделать или, лучше сказать, повторить предположение, что оно, как и соматически большое, изображается путем увеличения затраты. Нужно немного наблюдений для доказательства того, что, говоря о выдающемся, я иннервирую свой голос, придаю другое выражение своему лицу и стараюсь привести весь свой внешний вид в соответствие с достоинством представляемого себе. Я принимаю при этом торжественно-почтительный тон, лишь немногим отличающийся от того, который я принял бы в присутствии выдающегося лица, государственного деятеля или великого ученого. Я едва ли ошибаюсь, предполагая, что эта другая иннервация мимики представлений сопровождается увеличением затраты. Третий случай такого увеличения затраты имеет место тогда, когда я высказываю абстрактные суждения вместо обычных конкретных и пластических представлений. Когда, обсуждающийся здесь прием умаления выдающегося даст мне возможность представить это выдающееся как нечто обыкновенное, для которого я не должен напрягаться и в воображаемом присутствии которого я могу стоять «вольно», говоря военной формулой, то я делаю экономию затраты на торжественно-почтительный тон. Сравнение этого способа представлений, возбужденного вчувство-ванием, с привычным до сих пор способом, пытающимся одновременно выявиться, создает опять-таки разницу в затрате, которая может быть отреагирована в смехе.

Карикатура, как известно, унижает, выхватывая из совокупного впечатления о выдающемся объекте одну-единственную черту, которая сама по себе комична, но оставалась незамеченной до тех пор, пока воспринималась только в общей картине. Ее изолирование может дать комический эффект, который в нашем воспоминании распространяется на все в целом. При этом должно быть соблюдено условие, согласно которому мы испытывали эту почтительность не только в присутствии выдающегося лица. Если такая незаметная в общей совокупности комическая черта в действительности отсутствует, то карикатура создает ее без всяких рас-суждений, преувеличивая такую черту, которая сама по себе не комична. Опять-таки для происхождения комического удовольствия характерно то, что такое ложное изображение действительности не наносит существенного ущерба эффекту карикатуры.

Пародия и костюмировка добиваются унижения выдающегося другим путем, нарушая единство между известными нам характерными чертами людей и между их поступками и речами, заменяя выдающихся людей или их проявления более низкими. Они отличаются от карикатуры этим приемом, а не механизмом доставления комического удовольствия. Тот же механизм действует и при разоблачении, которое пускается в ход только тогда, когда кто-нибудь добился уважения и авторитета путем обмана, если в действительности он не заслуживает ни того, ни другого. Комический эффект разоблачения мы изучили на некоторых примерах остроумия. Например, в остроте о знатной даме, которая при первых родовых болях восклицает «Ах, мой дорогой» и врач не хотел оказывать ей помощь, пока она не закричала «Ай! ай! ай!» Изучив характерные черты комического, мы уже не можем оспаривать того факта, что эта история является примером комического разоблачения и не может претендовать на название остроты. Она напоминает остроту только инсценировкой, техническим приемом изображения с помощью детали, какою здесь является крик роженицы, считающийся достаточным показателем ее состояния. Между тем наша разговорная речь, если мы обратимся к ней за разрешением вопроса, наоборот, позволяет назвать такую историю остротой. Объяснение этому мы находим в том, что практика языка не исходит из научных взглядов на сущность остроумия, добытых этим кропотливым исследованием. Так как функции остроумия частично заключаются в том, чтобы вновь сделать доступными источники комического удовольствия, то по заманчивой аналогии можно каждый прием, не вскрывающий явного комизма, назвать остротой. Но это последнее верно преимущественно для разоблачения, равно как и для всех других методов, искусственно вызывающих комизм.

К «разоблачению» можно отнести и тот известный уже нам прием искусственного создания комизма, который унижает достоинство отдельного человека, обращая внимание на

его общечеловеческие слабости и особенно на зависимость его душевных функций от телесных потребностей. Разоблачение становится затем равнозначно напоминанию: такой-то и такой-то, которого почитают как полубога, является все-таки таким же человеком, как я и ты. Сюда же относятся все стремления обнаружить за богатством и кажущейся свободой психических функций однотонный психический автоматизм. Мы изучили примеры такого разоблачения в остротах о посредниках брака. Конечно, и тогда уже мы сомневались, имеем ли право причислить эти истории к островам. Вспомним анекдот о человеке-эхо, который подтверждает все, что говорит брачный посредник, и усиливает в результате признание шадхена в том, что невеста имеет горб, восклицанием «И какой горб!». Теперь мы можем с большей уверенностью решить, что этот анекдот является, в сущности, комической историей, примером разоблачения психического автоматизма. Но тем не менее эта комическая история служит здесь только фасадом. Для каждого вникающего в скрытый смысл анекдотов о посредниках брака здесь все в целом остается отлично инсценированной остротой. Тот же, кто не вникает так глубоко, считает это только комической историей. То же относится к другой остроте о посреднике брака, который для опровержения возражения признает, в конце концов, истину, восклицая: «Помилуйте, разве кто доверит этим людям что-нибудь!». Это комическое разоблачение, служащее фасадом для остроты. Все-таки характер остроты здесь гораздо очевиднее, так как речь посредника является в то же время изображением при помощи противоположности: желая доказать, что эти люди богаты, он вместе с тем доказывает, что они не богаты, а очень бедны. Остроумие и комизм комбинируются здесь и учат нас тому, что некоторые выражения могут быть в одно и то же время остроумными и комическими.

Мы охотно пользуемся случаем перейти от комизма разоблачения к остроумию, так как нашей задачей в основном является выяснение взаимоотношений между остроумием и комизмом, а не определение сущности комического. Поэтому мы присоединяем к открытию психического автоматизма, относительно которого не знаем, комичен он или остроумен, другой случай, в котором тоже сплетаются остроумие и комизм — случай острот-бессмыслиц. Исследование покажет нам, что для этого второго случая можно теоретически вывести совпадение остроумия и комизма.

При обсуждении технических приемов остроумия мы нашли, что виды мышления, которые имеют место в бессознательном и которые в сознательном могут трактоваться только как «ошибки мышления», являются техническим приемом для очень многих острот, в остроумном характере которых мы все-таки могли сомневаться и которые склонны были классифицировать просто как комические истории. Мы не могли разрешить своих сомнений, так как нам прежде всего была неизвестна сущность характера остроумия. Впоследствии мы нашли ее, руководствуясь аналогией с работой сна, в компромиссной функции работы остроумия между требованиями рассудительной критики и нежеланием отказаться от прежнего удовольствия, получаемого от игры словами и от бессмыслицы. Компромисс, осуществляющийся тогда, когда предсознательное выражение мысли подвергается на какой-то момент бессознательной обработке, удовлетворяет во всех случаях требованиям обеих сторон, но критике он преподносится в различных формах и ему даются различные оценки с ее стороны. Острота иной раз может хитростью пробраться в форме лишнего значения, но все же допустимого предложения, в другой раз — тайно проникнуть в выражение ценной мысли. Но в пограничном случае компромиссного образования острота отказывается удовлетворять требования критики и стремится упорно к источникам удовольствия, которыми она владеет. Являясь незамаскированной бессмыслицей с точки зрения критики, острота не побоялась вызвать возражения с ее стороны, так как могла рассчитывать на то, что слушатель восстановит искаженное ею выражение, получившееся в результате бессознательной обработки, и вновь придаст ему, таким образом, смысл.

В каком случае острота оказывается бессмыслицей с точки зрения критики? Особенно тогда, когда она пользуется видами мышления, употребительными в бессознательном и запрещенными в сознательном мышлении; следовательно, ошибками мышления. Но

некоторые виды мышления, употребительные в бессознательном, удержались также и в сознательном мышлении. Например, некоторые виды непрямого изображения, намеки и т. д., хотя их сознательное употребление в большой мере ограничено. Употребление этих технических приемов или совсем не вызывает, или вызывает только незначительное сопротивление со стороны критики. Это сопротивление наступает лишь в том случае, если острота использует в качестве технических приемов те средства, о которых сознательное мышление и слышать не хочет. Однако острота может еще преодолеть это препятствие, если она замаскирует сделанную ею ошибку мышления, придаст ей вид логичности, как в истории с тортом и ликером, семгой с майонезом и тому подобными. Но если она дает нам ошибку мышления в незамаскированном виде, то возражение критики неизбежно.

В этом случае остроте приходит на помощь нечто другое. Ошибки мышления, которыми она пользуется для своих технических приемов как видами мышления в бессознательном, кажутся критике, хотя и не всегда, комическими. Сознательное употребление бессознательных и отвергнутых в силу своей ошибочности видов мышления является средством, доставляющим комическое удовольствие. И это легко понять, так как создание предсознательной активности требует, конечно, большей затраты, чем применение бессознательной. Выслушивая мысль, возникшую как будто в бессознательном, и сравнивая ее с ее корректурой, мы в результате получаем разницу в затрате, из которой вытекает комическое удовольствие. Острота, использующая такую ошибку мышления в качестве технического приема, отчего она кажется бессмысленной, может производить, таким образом, комическое действие. Если мы не найдем следов остроумия, то нам останется только комическая история, шутка.

Вспомним историю о взятом займы котле, который оказался при возвращении продырявленным; причем взявший его оправдывался так: во-первых, он вообще не брал никакого котла, во-вторых, он был уже продырявлен, когда он взял его, и в-третьих, он возвратил его в целостности, без дыры. Это отличный пример чисто комического действия, полученного в результате употребления бессознательных видов мышления. В бессознательном нет этого взаимного исключения нескольких мыслей, из которых каждая сама по себе хорошо мотивирована. Сновидение, в котором появляются эти виды бессознательного мышления, не знает понятия «или-или»⁸⁴, а только одновременное существование двух элементов. В том примере своего «Толкования сновидений», который я, несмотря на его сложность, взял за образец для работы толкования, я стараюсь освободиться от упрека в том, что не избавил пациентку от боли с помощью психического лечения. Я основывался на следующем: 1) она сама виновата в своей болезни, так как не хочет принять моего «решения»; 2) ее боли органического происхождения и, следовательно, меня не касаются; 3) ее боли объясняются ее вдовством, в котором я, конечно, неповинен; 4) ее боли являются следствием инъекции, которую ей сделал кто-то другой грязным шприцем. Все эти основания существуют одновременно, как будто одно не исключает другого. Чтобы избежать упреков в бессмысленности, я должен был бы вместо «и», стоящего в сновидении, поставить «или-или».

Такой же комической историей является происшествие в венгерском селе, в котором кузнец совершил убийство, а бургомистр приговорил к повешению не кузнеца, а портного, потому что в этом селе жили два портных и только один кузнец, лишиться которого нельзя, а наказать кого-нибудь необходимо. Такое передвижение с личности виновника на другую противоречит, разумеется, всем законам сознательной логики, но отнюдь не противоречит способу мышления бессознательного. Я без колебания называю эти истории комическими, хотя историю с котлом привел как пример остроты. Я согласен с тем, что и ее правильнее назвать комической, чем остроумной. Но я понимаю теперь, почему мое прежде столь уверенное чувство привело меня к сомнению, является эта история комической или

⁸⁴ В крайнем случае это понятие вводится рассказчиком как толкование.

остроумной. Это тот именно случай, в котором я не могу, руководствуясь чувством, решить, когда именно возникает комизм при обнаружении видов мышления, свойственных именно бессознательному. Такая история может одновременно быть и комической и остроумной. Но она производит на меня впечатление остроты, хотя бы и была только комической, так как употребление мыслительных ошибок бессознательного напоминает мне остроту, равно как и прежние приемы для обнаружения скрытого комизма.

Я придаю особое значение точному выяснению этого самого спорного пункта моих исследований — отношения остроумия к комизму. Поэтому хочу дополнить сказанное некоторыми негативными положениями. Прежде всего, я обращаю внимание на то, что обсуждавшийся здесь случай совпадения остроумия с комизмом не идентичен с предыдущим. Хотя это очень тонкое отличие, но о нем можно говорить с уверенностью. В предыдущем случае комизм вытекал из открытия психического автоматизма. Этот автоматизм свойствен отнюдь не одному только бессознательному и не играет никакой выдающейся роли среда технических приемов остроумия.

Разоблачение только случайно связано с остроумием, обслуживая другой технический прием остроумия, например изображение с помощью противоположности. Но при употреблении видов бессознательного мышления совпадение остроумия и комизма неизбежно, так как тот же самый прием, который первому лицу служит в остроте техникой освобождения удовольствия, третьему лицу доставляет, по своей природе, комическое удовольствие.

Можно было бы впасть в искушение обобщить этот последний случай и искать отношение остроумия к комизму в том, что действие остроты на третье лицо происходит подобно механизму комического удовольствия. Но об этом нет и речи. Совпадение с комическим имеет место отнюдь не во всех, и даже не в большинстве острот. Чаше можно, наоборот, отделить остроумие от комизма в чистом виде. Если остроте удастся избавиться от видимости бессмыслицы (то есть в большинстве острот, построенных на двусмысленности и намеке), то у слушателя нельзя найти следов действия, подобного комическому. Это можно проверить на приведенных прежде примерах и на некоторых новых, которые я могу привести.

«Поздравительная телеграмма к 70-летию со дня рождения одного игрока: «Trente et quarante» (разделение слов с намеком)».

«Мадам de Maintenon называли M-me de Maintenant (модификация имени)».

«Проф. Кестнер говорит одному принцу, остановившемуся во время демонстрации перед подозрной трубой: «Мой принц, хоть вы и светлейший (durchlauchtig), но вы не прозрачны (durchsichtig)».

[Аналогию этой остроты в русском языке можно было бы создать в таком виде: «Один из придворных сказал принцу, который имел низкий рост и пытался посмотреть в подозрную трубу: «Мой принц, хоть вы и ваше высочество, но вы недостаточно высоки». — Перев.]

«Граф Andrassy был назван министром прекрасной наружности».

Можно было бы далее думать, что все остроты с бессмысленным фасадом' кажутся комическими и должны оказывать такое действие. Однако я вспоминаю здесь о том, что такие остроты часто оказывают другое действие на слушателя, вызывают смущение и склонность к неприятию. Следовательно, речь идет, очевидно, о том, является ли бессмысленность остроты комической или простой неприкрашенной бессмыслицей. Условия для решения этой альтернативы мы еще не исследовали. Соответственно этому мы заключаем, что остроту по ее природе следует отличать от комического и что она только совпадает с ним, с одной стороны, в некоторых частных случаях, а с другой — в тенденции извлекать удовольствие из интеллектуальных источников.

Но при этих исследованиях об отношении остроумия к комизму перед нами всплывает то отличие, которое мы должны отметить как самое важное и которое указывает нам в то же время на основной психологический характер комизма. Источник удовольствия от остроты мы должны были перенести в бессознательное. Но мы не имеем никакого повода к такой

локализации источника комического удовольствия. Наоборот, все анализы, проделанные нами до сих пор, указывают на то, что источником комического удовольствия является сравнение двух затрат, из которых мы должны обе отнести к предсознательному. Остроумие и комизм отличаются, прежде всего, психической локализацией; острота же — это, так сказать, содействие, оказываемое комизму из области бессознательного.

Мы не должны обвинять себя в том, что уклонились от темы, так как отношение остроумия к комизму является поводом, заставившим нас предпринять исследование комического. Но теперь наступило время вернуться к нашей теме, к обсуждению приемов, служащих для искусственного создания комизма. Мы предварительно исследовали карикатуру и разоблачение, так как могли найти в обоих этих видах комизма некоторые связующие нити с анализом комизма подражания. Подражание в большинстве случаев соединено с карикатурой, с преувеличением некоторых, хотя, возможно, и не ярких особенностей и имеет унижающий характер. Однако сущность его этим не исчерпывается. Неоспоримо, что оно само по себе является обильным источником комического удовольствия, так как мы особенно охотно смеемся над удачным подражанием. Этому нелегко дать удовлетворительное объяснение, если не присоединиться к мнению Бергсона⁸⁵, согласно которому комизм подражания очень близок комизму психического автоматизма. Бергсон полагает, что комически действует все то, что заставляет думать о неодушевленных механизмах у одушевленного объекта. Его формулировка этого положения гласит: «*Mecanisation de la vie*». Он объясняет комизм подражания, ставя его в связь с проблемой, которую выдвигает Паскаль в своих «*Pensees*»: почему мы смеемся при виде двух похожих лиц, из которых каждое само по себе вовсе не комично.

«Живое никогда не должно повторяться в тождественном виде согласно нашим ожиданиям. Когда мы видим такое повторение, то предполагаем нечто механическое, скрывающееся за этим живым». Когда человек видит два поразительно похожих друг на друга лица, то он думает о двух отпечатках одной и той же формы или об одном и том же приеме механического изготовления. Иначе говоря, причиной смеха в таких случаях является диссонанс между живым и неживым, мы могли бы сказать — деградация живого в неживое. Если мы согласимся с этими выводами Бергсона, которые вызывают у нас доверие, то нам не трудно будет подвести его взгляд под нашу собственную формулу. Наученные опытом тому, что каждое живое существо отлично от другого и требует от нашего разума некоторой затраты, мы разочаровываемся, когда нам не нужно производить никакой новой затраты из-за полной аналогии или вводящего в заблуждение подражания. Но мы разочарованы в смысле облегчения затраты, и ставшая излишней затрата ожидания находит свое отреагирование в смехе. Эта же формула покрывает все получившие оценку Бергсона случаи комического оцепенения (*raideur*), профессиональных привычек, фиксированных идей и оборотов речи, употребляемых по каждому поводу. Все эти случаи исходят из сравнения затраты ожидания с той затратой, которая необходима для понимания тождественного объекта, причем большая затрата ожидания опирается на наблюдение индивидуального разнообразия и пластичности всего живого. Следовательно, при подражании источником комического удовольствия является не комизм ситуации, а комизм подражания.

Так как мы вообще выводим комическое удовольствие из сравнения, то нам надлежит исследовать и сам комизм сравнения, который точно так же служит средством искусственного создания комизма. Наш интерес к этому вопросу повысится, если мы вспомним, что и в случае сравнения нас также часто охватывало чувство сомнения, следует ли назвать его остротой или просто комическим суждением.

Эта тема заслуживает, конечно, гораздо больше внимания, чем мы можем ей уделить. Главное качество, которое мы требуем от сравнения, — это вопрос, является ли оно метким,

⁸⁵ Bergson. *Le rire, essai sur la signification du comique*. 3-me edition. Paris, 1904.

то есть обращает ли оно внимание на действительно существующую аналогию между двумя различными объектами. Первоначальное удовольствие от повторного нахождения одного и того же не является единственным мотивом, благоприятствующим употреблению сравнения. Сюда присоединяется еще и способность сравнения к такому употреблению, которое приносит с собой облегчение интеллектуальной работы. Это бывает именно тогда, когда (как это в большинстве случаев делают) сравнивают более неизвестное с более известным, абстрактное с конкретным. И благодаря такому сравнению более чуждое и более трудное становится более ясным. Подобное сравнение абстрактного с вещественным связано с некоторым унижением и с некоторой экономией абстракционной затраты (в смысле мимики представлений). Однако эта экономия недостаточна, чтобы отчетливо выявить характер комического. Этот характер выплывает не внезапно, а постепенно из удовольствия от облегчения затраты, полученного в результате сравнения. Есть много случаев, которые только имеют сходство с комическим, и можно сомневаться, присущ ли им комический характер. Несомненно комично то сравнение, при котором повышается разница в уровне абстракционной затраты между обоими элементами сравнения и нечто серьезное или чуждое нашему мышлению (в особенности носящее интеллектуальный или моральный характер) сравнивается с чем-то банальным или низменным. Предыдущее удовольствие от облегчения затраты и содействие, оказываемое условиями мимики представлений, могут объяснить постепенный, определяемый количественными соотношениями переход удовольствия вообще в комическое удовольствие при сравнении. Желая избежать недоразумений, я подчеркиваю, что вывожу комическое удовольствие при сравнении не из контраста обоих элементов сравнения, а из разницы обеих абстракционных затрат. Трудно воспринимаемое, чуждое, абстрактное, собственно интеллектуально выдающееся разоблачается, как нечто низменное, потому что оно проводит аналогию с известным нам низменным, при представлении о котором отсутствует всякая абстракционная затрата. Итак, комизм сравнения сводится к деградированию.

Как мы уже видели раньше, сравнение может быть остроумным без следа комической примеси именно тогда, когда оно избегает унижения. Так, сравнение истины с факелом, который нельзя пронести через толпу, не опалив кому-нибудь бороды, представляет собой чистую остроту, так как оно придает полноценный смысл поблекшему выражению («факел истины»), и вовсе не является комическим, так как факел как объект не лишен некоторой импозантности, хотя и является конкретным предметом. Но сравнение очень легко может быть в такой же мере остроумным, как и комичным, а может быть или только остроумным, или только комичным, независимо одно от другого. Сравнение приходит на помощь некоторым техническим приемам остроумия, как, например, унификации и намеку. Так, сравнение Нёстрога воспоминания с магазином является одновременно и остроумным, и комичным. Комичным — в силу огромного унижения, которому подвергается психологическое понятие в сравнении с магазином, остроумным — потому что употребляет это сравнение приказчик, и он, таким образом, создает в нем совершенно неожиданную унификацию между психологией и своей профессией. Фраза Гейне «Пока у меня, наконец, не оборвались все пуговицы на штанах терпения» кажется, на первый взгляд, только отличным примером сравнения комически унижающего. Но при ближайшем рассмотрении следует признать за ним и остроумный характер, так как это сравнение является намеком на скабрёзность и дает, таким образом, возможность извлечь удовольствие от скабрёзности. Из одного и того же материала возникает, конечно, не совсем случайное совпадение комического и в то же время остроумного удовольствия. Условия создания одного способствуют и созданию другого. Но человека, который хочет разобраться, имеем мы здесь остроту или комизм, такое объединение сбивает с толку. И только внимательное исследование, независимое от действия этого удовольствия, может разрешить сомнение.

Хотя анализ этих тончайших условий комического удовольствия очень заманчив, однако автор должен сказать, что ни его предшествующее образование, ни его повседневная деятельность не дают ему права выйти в своих исследованиях за пределы области

остроумия. И он должен сознаться, что именно тема комического сравнения заставила его почувствовать свою некомпетентность.

Итак, мы охотно напоминаем, что многие авторы не признают резкой идейной и реальной разницы между остроумием и комизмом, которую склонны видеть мы, и что они считают остроту просто «комизмом речи» или «слов». Для проверки этого взгляда мы хотим выбрать по одному примеру умышленного и невольного комизма речи для сравнения с остротой. Мы уже раньше заметили, что считаем себя достаточно компетентными, чтобы отличить остроумную фразу от комической.

[«Один съел пирожок с мясом, а другой — пирожок с удовольствием» — Перев. }

Это просто комично. А вот фраза Гейне о четырех сословиях, на которые разделяется население Геттингена:

«Профессора, студенты, филистеры и скот». Она уже чрезвычайно остроумна.

За образец умышленного комизма речи я беру «Wippchen» («Шутки») Штеттенхайма, которого называют остроумным, так как он в высокой степени обладает умением вызывать комизм. Острота, которую «знают», в противоположность той, которую «создают», в действительности метко определяется этой способностью. Неоспоримо, что письма бернского корреспондента «Шутки» остроумны в том отношении, что в них разбросано много острот всякого рода, среди которых есть очень удачные («празднично раздетые» — говорит он о празднестве у дикарей). Но своеобразный характер этих произведений зависит не от отдельных острот, а от комизма речи, который обильно струится в них. «Шутки» — это первоначально сатирический образ, модификация Фрейтаговского Schmock'a («газетного писаки») — одного из тех невежд, которые торгуют и злоупотребляют культурной ценностью нации. Но удовольствие от комического эффекта, получаемого при их изложении, оттесняет, очевидно, у автора мало-помалу сатирическую тенденцию на задний план. Продукция в «Шутках» является в большинстве случаев «комической бессмыслицей». Автор воспользовался (впрочем, по праву) веселым расположением духа, полученным в результате частого употребления такой продукции, чтобы наряду с допустимыми шутками привести разного рода пошлости, которые сами по себе недопустимы. Бессмыслицы в «Шутках» кажутся специфическими из-за особой техники. Если ближе рассмотреть эти «остроты», то некоторые разряды их особенно бросаются в глаза и накладывают свой отпечаток на все творчество. «Шутки» используют преимущественно соединения (слияния), модификации известных оборотов речи и цитат и вставки в них банальных элементов с помощью более изысканных и более ценных в большинстве случаев средств выражения. Впрочем, это приближается, конечно, к техническим приемам остроумия.

Слияниями являются, например, следующие шутки (взятые из предисловия и первых страниц):

«В Турции столько золота, сколько звезд в море» — это выражение составлено из двух оборотов речи:

«Золото, как звезды»,

«Золото, как песок в море».

Или: «Я не больше чем безлиственный столп, свидетельствующий об исчезнувшем великолепии», что является сгущением «безлиственной породы» и «столпа, свидетельствующего и т. д.». Или: «Где нить Ариадны, которая вывела из Сциллы эту Авгиеву конюшню?», что составлено из трех элементов, принадлежащих трем различным греческим мифам.

Модификацию и замену одаого другим — можно без натяжки объединить. Их характер вытекает из нижеследующих, взятых в «Шутках» примеров, в которых между строк всегда сквозит другой, ходячий, в большинстве случаев банальный, избитый текст.

«Битвы, в которых русские то оставались в дураках, то оставались в умниках». Нам известен только первый оборот речи; не так уж бессмысленно было бы ввести в употребление и второй по аналогии с первым.

«Во мне уже рано пробудился Пегас». Если заменить слово «Пегас» словом «поэт», то

перед нами автобиографический оборот речи, потерявший уже ценность из-за частого употребления. Хотя слово «Пегас» и не подходит для замены слова «поэт», но оно находится с ним в связи по смыслу и является высокопарным.

«Так прожил я свое тернистое короткое платье».

Это описание вместо простого слова. «Вырасти из короткого платья» — один из описательных оборотов речи, связанных с понятием «детство».

Из множества других продукций «Шуток» можно отметить некоторые как примеры чистого комизма, например комического разочарования. «Исход сражения колебался в течение нескольких часов. Наконец, оно окончилось ни в чью». Или пример комического разоблачения (неведения): «Клио, медуза истории»; цитаты: «Habent sua fata morgana» («Имеют свой мираж» — лат.). Но нас больше интересуют слияния и модификации, так как они воспроизводят известные технические приемы остроумия. Можно сравнить с модификациями такие остроты, как, например: «Он имеет великую будущность позади себя», «Он набитый идеалист»; остроты Лихтенберга, возникшие путем модификации: «Новые курорты хорошо лечат» и т. п. Можно ли назвать проекции «Шуток», пользующиеся той же самой техникой, остротами или они чем-то отличаются от острот?

На это, конечно, нетрудно ответить. Вспомним о том, что острота имеет для слушателя два лица, вынуждает его к двум различным толкованиям. В остротах-бессмыслицах, как в упомянутых выше, одно толкование, соотносящееся только с текстом, гласит, что он является бессмыслицей; другое толкование, следуя намеку, прокладывает у слушателя путь через бессознательное и находит себе отличный смысл. При продукциях «Шуток», имеющих сходство с остротой, один из ликов остроты пуст, он как бы исчезает; это голова Януса, на которой высечен только один лик. Если человек, подкупленный техникой, обращается к бессознательному, он не находит там ничего. Исходя из слияния, мы не находим там такого случая, в котором оба слившихся элемента действительно получают новый смысл: при попытке анализа эти элементы совсем распадаются. Модификация и замена одного элемента другим приводят, как при остроте, к общеупотребительному и известному тексту, но сама модификация или замена не говорит ни о чем ином, а обычно и ни о чем возможном или общеупотребительном. Таким образом, для подобных «острот» остается только одно толкование — это бессмыслицы. Если угодно, то можно решить еще вопрос о том, нужно ли называть такие продукты, лишенные одной из существеннейших характерных черт остроумия, плохими остротами или вообще не называть их остротами. Несомненно, что такие бледные остроты все же производят комический эффект, который мы можем объяснить себе по-разному. Либо комизм возникает из обнаружения видов мышления; употребительных в бессознательном как в случаях, рассмотренных раньше, либо удовольствие вытекает из сравнения с удачной остротой. Нам ничто не мешает предположить, что здесь совпадают оба способа возникновения комического удовольствия. Нельзя отрицать, что именно это недостаточное приближение к остроте превращает в данном случае бессмыслицу в комическую бессмыслицу.

Существуют другие, легко поддающиеся анализу случаи, в которых такая недостаточность, в сравнении с тем, что должно было бы быть продуцировано, делает бессмыслицу непреодолимо комической. Загадка, являющаяся противоположностью остроты, может дать нам лучшие примеры этого, чем сама острота. Например, шутливый вопрос звучит так: «Что висит на стене, обо что можно вытереть руки?» Если бы правильным ответом было «полотенце», то это была бы глупая загадка. Но такой ответ не принимается. — «Нет, селедка». — «Но, помилуйте, — возражает удивленно человек. — Ведь селедка не висит на стене». — «Но ведь ты можешь повесить ее на стену». — «А кто же станет вытирать руки о селедку?» — «Тебя никто не заставляет это делать», — звучит успокаивающий ответ. Это объяснение, данное с помощью двух типичных передвиганий, показывает, как многого не хватает этому вопросу, чтобы быть настоящей загадкой. И в силу этой абсолютной недостаточности он оказывается не просто бессмысленным, глупым, но и непреодолимо комическим. Таким образом, путем несоблюдения существенных условий

острота, загадка и другие суждения, которые сами по себе не доставляют комического удовольствия, могут стать его источником.

Еще меньше трудностей для понимания представляет случай произвольного комизма речи, встречающийся очень часто в стихотворениях Ф. Кемпнер.

Против вивисекции

' Ein unbekanntes Band der Seelen kettet Den Menschen an das arme Tier.

Das Tier hat einen Widen — ergo Seele —

Wenn auch 7re kleinere als wir.

(«Неведомая связь душ соединяет человека с бедным животным. У животного есть воля⁸⁶ а следовательно и душа, хотя бы и меньшая, чем у нас»).

Или разговор двух нежных супругов («Контраст»):

«Wie glücklich bin ich», — ruft sie leise.

«Auch ich, — sagt tauter ihr Gemahl. —

Es macht mich deine Art und Weise Sehr stolz auf meine gute Wahl!

(«Как я счастлива», — тихо восклицает она. «И я, — говорит громче ее супруг. — Твой род и твой вид дают мне право весьма гордиться своим удачным выбором».)

Здесь нет ничего напоминающего остроту. Но несомненно, что комическими эти «стихотворения» делает их неудовлетворительность, чрезвычайная тяжеловесность выражений из-за вышедших из повседневного употребления или литературного стиля оборотов речи, простодушная ограниченность мыслей, отсутствие какого бы то ни было следа поэтического или разговорного образа мышления⁸⁶. При всем том не совсем понятно, почему мы находим эти стихотворения Кемпнер комическими. Многие подобные же произведения мы находим просто плохими; они вызывают у нас не смех, а досаду. Именно размер отступления от тех требований, которые мы предъявляем к стихотворениям, заставляет нас считать их комическими. Там, где эта разница меньше, мы больше склонны к критике, чем к смеху. Кроме того, комическое действие стихотворений Кемпнер обусловлено другими побочными обстоятельствами, очевидными добрыми намерениями, которыми руководствовалась поэтесса, некоторой сентиментальностью, обезоруживающей наше насмешливое отношение или нашу досаду и скрытой за ее беспомощными фразами. Мы вспоминаем здесь о проблеме, обсуждение которой отложили. Разница в затрате является, конечно, основным условием получения комического удовольствия. Но наблюдение показывает, что удовольствие не всегда проистекает из такой разницы. Какие условия должны присоединяться или какие препятствия должны быть устранены для того, чтобы результатом такой разницы в затрате действительно явилось комическое удовольствие? Но прежде чем ответить на этот вопрос, мы хотим сделать вывод из предшествующих рассуждений: острота не совпадает с комическим суждением, а остроумие — это нечто отличное от комизма речи.

Собираясь ответить на только что поставленный вопрос об условиях возникновения комического удовольствия из разницы в затрате, мы позволяем себе несколько облегчить н^ашу задачу, что не может доставить нам самим ничего, кроме удовольствия. Точный ответ на этот вопрос был бы равнозначен исчерпывающему изложению природы комизма, а на это у нас нет ни права, ни способностей. Мы удовлетворимся опять-таки освещением проблемы комизма лишь постольку, поскольку она достаточно резко отличается от проблемы

⁸⁶ Из русских авторов все сказанное полностью может быть отнесено к небезызвестному Козьме Пруткову. Образчиком его творчества может служить стихотворение в прозе «Что к чему привешено»: «Некоторая очень красивая девушка, в королевском присутствии у кавалера де Мондбасона, хладнокровно спрашивала: «Государь мой, что к чему привешено: хвост к собаке или собака к хвосту?» — Сей проворный в отповедях кавалер, нисколько не смятенным, а напротив того, постоянным голосом отвечивал: «Как, сударыня, приключится; ибо всякую собаку никому и за хвост, как за шею, приподнять невозбранно». — Которая отповедь тому королю отменное удовольствие причинивши, оный кавалер не без награды за нее остался». — Примеч. перев.

остроумия.

Все критики бросали теориям остроумия упрек в том, что их определения не затрагивают сущности комизма. Комизм основан на контрасте представлений, если контраст этот комичен и не производит иного впечатления. Комизм вытекает из неисполнения наших ожиданий, если разочарование при этом не мучительно. Эти возражения, без сомнения, справедливы, но их переоценивают, приходя к заключению, что существенная характерная черта комизма ускользнула до настоящего времени от понимания. Обобщению же этих определений мешают условия, которые необходимы для возникновения комического удовольствия, без того чтобы в них нужно было искать сущность комизма. Опровержение возражений и объяснение противоречий будет легко для нас лишь в том случае, если мы будем считать, что комическое удовольствие вытекает из разницы при сравнении двух затрат. Комическое удовольствие и эффект, по которому оно узнается, то есть смех, могут возникать лишь тогда, когда эта разница неприменима для других целей и способна к отреагированию. Мы не получаем никакого эффекта удовольствия, а в крайнем случае — мимолетное чувство удовольствия, которое не носит комического характера, если разница, как только она распознается, получит другое применение. Как при остроте необходимо особое предрасположение, чтобы предупредить иное применение излишней затраты, так и комическое удовольствие может возникать только при таких соотношениях, которые выполняют это условие. Поэтому случаи, в которых возникают разницы затрат в жизни наших представлений, чрезвычайно многочисленны, а случаи, в которых из них вытекает комизм, сравнительно редки.

Наблюдатель, хотя бы бегло обзревающий условия возникновения комизма из разницы в затрате, может сделать два замечания. Во-первых, есть случаи, в которых регулярно и как бы неизбежно возникает комизм, и в противоположность им есть другие случаи, в которых комизм в большой мере зависит от условий случая и от точки зрения наблюдателя. Во-вторых, очень большая разница в затрате побеждает весьма часто неблагоприятные условия, так что комическое чувство возникает вопреки им. В связи с первым замечанием можно различать два класса: класс неопровержимо комического и класс случайно комического, хотя уже с самого начала нужно предположить, что неопровержимость комизма, относящаяся к первому классу, не свободна от исключений. Было бы заманчиво заняться исследованием решающих для обоих классов условий.

Существенными для второго класса являются условия, часть которых может быть объединена под названием «изолирования» комического случая. Ближайший анализ выясняет следующие соотношения.

А. Благоприятным условием для возникновения комического удовольствия является вообще веселое настроение духа, в котором человек расположен смеяться. При веселом настроении, вызванном токсически, почти все кажется комическим из-за сравнения с затратой в нормальном состоянии. Остроумие, комизм и все подобные методы извлечения удовольствия из душевной деятельности являются ничем иным, как путями, идя по которым можно от одного единственного пункта прийти в веселое настроение — эйфорию, если она не существует как общая установка психики.

Б. Точно так же благоприятно влияет ожидание комизма, установка на комическое удовольствие. Поэтому, если человек рассказывает что-нибудь, имея в виду вызвать комический эффект, то для этого достаточна бывает такая незначительная разница в затрате, которая, вероятно, осталась бы незамеченной, если бы человек не ожидал заранее комический эффект. Если человек читает комическое произведение или идет в театр смотреть комедию, то в силу предвзятости к ожидаемому впечатлению он смеется над такими вещами, которые вряд ли казались бы комическими ему в обыденной жизни. Он смеется, в конце концов, при воспоминании о том, что он смеялся; смеется при ожидании смеха; смеется, едва только завидит комического артиста, даже прежде, чем тот сделает хотя бы попытку вызвать у него смех. Поэтому человек признает даже, что иногда впоследствии стыдится, над чем он смеялся в театре.

В. Неблагоприятные для комизма условия могут явиться результатом того вида душевной деятельности, который занимает в данный момент индивидуума. Работа воображения или мышления, преследующая серьезные цели, мешает отреагированию энергии, в которой она, конечно, нуждается для своего выполнения. Поэтому только неожиданные большие разницы в затрате могут пробиться и доставить удовольствие от комического. Особенно неблагоприятны для комизма все виды мыслительной деятельности, которые настолько далеки от наглядности, что не вызывают мимики представлений. При абстрактном размышлении для комизма вообще нет места, разве только в случаях, если этот образ мышления внезапно нарушается.

Г. Удобный случай для освобождения комического удовольствия исчезает и тогда, когда внимание направлено на то именно сравнение, из которого может вытекать комизм. При таких условиях то, что прежде безусловно оказывало комическое действие, теряет свою комическую силу. Душевное движение или проявление не может быть комичным для того, чье внимание направлено на сравнение этого душевного движения или проявления с образцом, который он ясно представляет себе. Так, экзаменатор не находит комичной бессмыслицу, продуцируемую испытуемым в его неведении, она раздражает его. В то же время коллеги испытуемого, которых гораздо больше интересует, какая участь постигнет их собрата, чем то, насколько удовлетворительны его знания, смеются от всего сердца над его бессмыслицей. Учителю гимнастики или танцев редко кажутся комическими движения его учеников, а от проповедника ускользает комизм отрицательных черт характера, которые так старательно отыскивает автор комедии. Комический процесс не выносит чрезмерной фиксации внимания на себе. Он должен протекать незаметно и подобен в этом отношении остроте. Но если бы его назвали обязательно бессознательным, то это противоречило бы номенклатуре «процессов сознания», которую я, имея на то основания, пользовался в «Толковании сновидений». Комический процесс относится скорее к предсознательному и ускользает от внимания, с которым связано сознание; поэтому его можно назвать подходящим термином «автоматический». Процесс сравнения затрат, если он доставляет комическое удовольствие, должен оставаться автоматическим.

Д. Если случай, из которого должен возникнуть комизм, является в то же время поводом к освобождению сильного аффекта, то это становится большим препятствием для комизма. Отреагирование разницы в этом случае, как правило, невозможно. Аффекты, предрасположение и установка индивидуума позволяют в каждом отдельном случае понять, что комизм всплывает или исчезает только в зависимости от точки зрения отдельного человека и абсолютно комическое существует только в исключительных случаях. Поэтому зависимость или относительность комического гораздо больше, чем относительность остроты, так как острота никогда не вытекает из чего-то, а всегда создается. А при ее создании уже приняты во внимание условия, в которых она создана. Развитие же аффекта — это самое сильное из условий, являющихся препятствием для комизма, и его значение нельзя отрицать, с какой бы стороны мы ни подошли к этому вопросу⁸⁷. Поэтому говорят, что комическое чувство возникает легче всего в полуиндифферентных случаях, в которых не участвуют сильное чувство или заинтересованность. Тем не менее можно видеть, что именно в случаях, связанных с освобождением аффекта, очень большая разница в затрате создает автоматизм отреагирования. Когда военачальник Бутлер отвечает, «горько смеюсь», на напоминания Октавия возгласом «Dank vom Haus Osterreich!», то его раздражение не мешает смеху, который относится к воспоминанию об испытанном им разочаровании. С другой стороны, поэт не может более убедительно изобразить силу этого разочарования, чем указывая на ее способность вызвать насильственный смех посреди бушующих аффектов. Я полагаю, что это объяснение может быть приложено ко всем случаям, когда смех вызывают и полные удовольствия моменты, и интенсивные, мучительные или напряженные аффекты.

⁸⁷ «Тебе легко смеяться; тебя это мало трогает».

Е. Если мы еще прибавим, что комическому удовольствию может способствовать всякая иная случайность, как, например, влияние контакта (по принципу предварительного удовольствия при тенденциозной остроте), то этим мы исчерпали рассмотрение условий комического удовольствия — хотя и не полностью, но для нашей цели в достаточной мере. Мы видим, что эти условия, равно как непостоянство и зависимость комического эффекта, нельзя удовлетворительно объяснить, если не предположить, что комическое удовольствие является производным отреагирования на ту разницу в затратах, которая при самых разнообразных соотношениях может быть употреблена для других целей, а не на отреагирование.

Более подробного рассмотрения заслуживает еще комизм сексуальности и скабрёзности, которого мы коснемся здесь лишь в немногих словах. Исходным пунктом и здесь является обнажение. Случайное обнажение действует на нас комически, так как мы сравниваем легкость, с которой получили возможность наслаждаться этим зрелищем, с той большой затратой, которая была бы необходима в иных обстоятельствах. Этот случай приближается к случаю наивно-комического, но он проще его. Всякое обнажение, очевидцами которого (или слушателями — в случае сальности) мы становимся благодаря третьему лицу, равнозначно искусственному комизму обнаженного человека. Мы слышали, что задача остроты заключается в том, чтобы заменить собой сальность и вновь скрыть, таким образом, источник комического удовольствия, ставший недоступным. Наоборот, подсматривание (подслушивание) обнажения не является комическим для подсматривающего (подслушивающего), так как его собственное напряжение упраздняет при этом условие комического удовольствия. В таком случае остается только сексуальное удовольствие от увиденного. Когда подсматривающий рассказывает об этом другому, то человек, за которым подсматривали (подслушивали), вновь становится комичным, так как при этом преобладает точка зрения, по которой обнаженный человек не произвел затраты, необходимой для сокрытия наготы. Впрочем, область сексуальности и скабрёзности дает чрезвычайно много удобных случаев получить комическое удовольствие наряду с удовольствием от сексуального возбуждения. Например, можно показать зависимость человека от его телесных потребностей (то есть унижить его) или открыть физическое влечение за претензией на духовную любовь (разоблачить его):

Прекрасная и жизненная книга Бергсона («Le rire») побуждает нас неожиданным образом искать понимание комизма в его психогенезе. Бергсон, формулы которого, предложенные им для объяснения характерных черт комизма, уже известны нам — «mécánisation de la vie», «substitution quel-conque de l'artificiel au naturel» — переходит с помощью легко вызываемых ассоциаций от автоматизма к автоматам и пытается свести целый ряд комических эффектов к поблекшему воспоминанию о детской игрушке. Идя в этом направлении, он в одном месте становится на точку зрения, которую, впрочем, скоро оставляет. Он пытается вывести комизм из последствия детских радостей. «Peut-etre tête devrions-nous pousser la simplification plus loin encore, remonter a nos souvenirs les plus anciens, chercher dans les jeux qui amuserent l'enfant, la premiere ebauche des combinaisons qui font rire l'homme... Trop souvent surtout nous meconnaissons ce qu'il y a cTencore enfantin, pour ainsi dire, dans la plupart de nos emotions joyeuses»⁸⁸.

Так как мы проследили в обратном направлении развитие остроты вплоть до запрещения разумной критикой детской игры словами и мыслями, то для нас должно быть особенно интересно проверить и эти предполагаемые Бергсоном инфантильные корни комизма.

Мы, действительно, наталкиваемся на целый ряд соотношений, которые кажутся нам

⁸⁸ «Может быть, нам следует пойти еще дальше в этом упрощении, вернуться к самым ранним нашим воспоминаниям и искать в детских играх, забавляющих ребенка, первые зачатки тех построений, которые заставляют смеяться взрослого человека... Очень часто мы не улавливаем тех следов инфантильности, которые еще сохранились в большинстве наших радостных переживаний».

многообещающими, когда мы исследуем отношение комизма к ребенку. Ребенок сам отнюдь не кажется нам комичным, хотя его сущность отвечает всем условиям, которые при сравнении с нами дают в результате комическую разницу: чрезмерную двигательную затрату наряду с незначительной умственной затратой, господство телесных функций над душевными и другие черты. Ребенок производит на нас комическое впечатление только тогда, когда он ведет себя не как ребенок, а подражает серьезному взрослому человеку. И он производит это впечатление таким же образом, как и те взрослые, которые носят чужую маску... Но до тех пор, пока он сохраняет свою детскую сущность, восприятие его доставляет нам чистое, быть может, напоминающее комизм, удовольствие. Мы называем его наивным, поскольку у него отсутствуют задержки, и наивно-комическими его проявления, которые у взрослого человека называли бы скабрёзными или остроумными.

С другой стороны, у ребенка нет чувства комизма. Это положение говорит только о том, что такое чувство появляется в ходе душевного развития, как и некоторые другие. И не было бы ничего удивительного (тем более что это должно быть признано), если бы комизм мог отчетливо восприниматься уже в возрасте, который мы должны назвать детским. Но тем не менее можно показать, что утверждение, согласно которому у ребенка отсутствует чувство комизма, содержит нечто большее, чем просто аксиому. Прежде всего ясно, что это не может быть иначе, если справедливо наше объяснение, считающее комическое чувство производным разницы в затрате, рассматриваемой как результат понимания другого человека. Возьмем в качестве примера опять-таки комизм движения. Сравнение, в результате которого получается разница, уложенное в формулу выглядит следующим образом: «Так делает это он» и «Так делаю это я, так я сделал это». Но у ребенка нет того содержащегося во втором предложении масштаба. Его понимание идет путем одного только подражания, он делает это точно таким же образом. Воспитание ребенка награждает его штандартом: «Ты должен делать это таким-то образом». Если ребенок пользуется этим мерилем при сравнении, то он легко может сделать вывод, что он сделал это неправильно и может сделать это лучше. В этом случае ребенок высмеивает другого человека, чувствуя свое превосходство... Я не вижу препятствий считать и этот смех производным разницы в затрате. Но по аналогии со знакомыми нам случаями высмеивания мы можем сделать вывод, что в смехе ребенка, сопровождаемом чувством превосходства, нет ничего комического. Это смех от чистого удовольствия. Когда мы ясно чувствуем свое превосходство, мы только улыбаемся, вместо того чтобы смеяться. А если мы смеемся, то тем не менее можем ясно отличить сознание своего превосходства от комизма.

Мы, вероятно, не ошибемся, если скажем, что ребенок смеется от чистого удовольствия при обстоятельствах, которые нами воспринимаются как комические, и мы не знаем мотивировки этого удовольствия. В то же время мотивы ребенка ясны и могут быть указаны.

Когда кто-нибудь поскользнется, например, на улице и упадет, то мы смеемся, потому что это производит — неизвестно почему — комическое впечатление. Ребенок смеется в этом случае от чувства превосходства, от радости, что это другому не повезло: он упал, а я — нет. Некоторые мотивы удовольствия ребенка оказываются утерянными для нас, взрослых. Поэтому мы в подобных условиях ощущаем «комическое» чувство взамен утерянного.

Было бы заманчиво обобщить искомый специфический характер комизма, видя в нем пробуждение инфантильности, понимая комизм как вновь приобретенный «утерянный детский смех». Тогда можно было бы сказать, что я всякий раз смеюсь по поводу разницы в затрате у другого человека и у меня, когда я вновь нахожу в другом человеке ребенка. Или, точнее говоря, полное сравнение, приводящее к комизму, должно было бы гласить: «Так делает это он, а я делаю это иначе. Он делает это так, как делал это я, будучи ребенком». Итак, этот смех являлся бы каждый раз результатом сравнения между мною взрослым и мною ребенком. Даже неравномерность комической разницы, из-за которой мне кажется комической то большая, то меньшая затрата, согласуется с инфантильным условием. Комизм при этом фактически всегда относится к инфантильности. Это не стоит в противоречии с

тем, что ребенок сам как объект сравнения не производит на меня комического, а только приятное впечатление. Не противоречит этому и то, что сравнение с инфантильным действует комически только в том случае, если разница в затрате не получила другого применения, так как при этом принимаются во внимание условия отреагирования. Все, что включает психический процесс в какую-либо связь, противодействует отреагированию излишней энергии и дает ей другое применение. Все, что изолирует психический акт, способствует отреагированию. Поэтому сознательная установка на ребенка как на объект сравнения делает невозможным отреагирование, необходимое для комического удовольствия. Только в предсознательной инстанции (*Besetzung*) получается такое приближение к изолированию в том виде, в каком мы можем, впрочем, приписать его и душевным процессам ребенка. Добавление к сравнению «Так делал это я, будучи ребенком», от которого исходит комическое действие, принималось бы, следовательно, во внимание для разниц средней величины лишь в том случае, если никакая другая связь не могла бы овладеть избытком освобожденной энергии.

Если мы еще продолжим попытку найти сущность комизма в предсознательной распознавании инфантильности, то должны будем сделать шаг вперед в сравнении с Бергсоном и признать, что сравнение, из которого вытекает комизм, должно пробудить не только прежнее детское удовольствие и детскую игру, но и затронуть детскую сущность вообще; быть может, даже детское страдание. Мы расходимся в этом с Бергсоном, но остаемся в согласии с собой, приводя комическое удовольствие в связь не с воспоминаниями об удовольствии, а всегда только со сравнением. Возможно, что случаи первого рода покрывают до некоторой степени закономерный и непреодолимый комизм. Присоединим сюда вышеприведенную схему случаев, в которых возможен комизм. Мы сказали, что комическая разница получается или а) от сравнения между другим человеком и мною, или б) от сравнения, производимого исключительно в пределах другой личности, или в) от сравнения, производимого исключительно в пределах моего Я.

В первом случае другой человек кажется мне ребенком, во втором — он сам опускается до ступени ребенка, в третьем — я нахожу ребенка в себе самом. К первому случаю относится комизм движения и форм, душевных проявлений и характера. В инфантильном этому соответствует любовь к движениям, умственная и нравственная недоразвитость как у ребенка, отчего глупый кажется мне комичным, напоминая ленивого ребенка, злой — напоминая скверного ребенка. О детском удовольствии, утерянном для взрослого человека, можно говорить только в том случае, когда речь идет о свойственной ребенку любви к движениям. Второй случай, при котором комизм покоится целиком на «вчувствовании», охватывает многочисленные случаи: комизм ситуации, преувеличения (карикатура), подражания, унижения и разорения. В этом случае уместна, по большей части, инфантильная оценка, так как комизм ситуации основан преимущественно на затруднениях, в которых мы вновь находим беспомощность ребенка. Самое худшее из этих затруднений — нарушение других функций повелительными требованиями, предъявляемыми естественными потребностями — соответствует тому, что ребенок недостаточно еще владеет своими телесными функциями. Если комизм ситуации оказывает свое действие с помощью повторений, то он опирается на свойственное ребенку удовольствие от длительного повторения, которым ребенок так надоедает взрослому (одни и те же вопросы, рассказы). Преувеличение, доставляющее удовольствие еще и взрослому, поскольку оно может быть оправдано его критикой, связано с характерным для ребенка отсутствием чувства меры, с его незнанием всех количественных соотношений, которые он впоследствии изучает как качественные. Сохранение чувства меры, умеренность является плодом позднейшего воспитания и приобретается путем взаимного торможения душевных порывов, воспринимаемых в определенной связи. Если эта связь ослаблена, как в бессознательном сновидении и при моноидеизме психоневрозов, то вперед выступает отсутствие чувства меры, свойственное ребенку.

Комизм подражания представлял сравнительно большие трудности для нашего

понимания до тех пор, пока мы не учитывали при этом инфантильного момента. Но подражание является самым излюбленным приемом ребенка и двигательным мотивом большинства его игр. Честолюбие ребенка направлено гораздо меньше на выделение среди равных себе, чем на подражание взрослым. От отношения ребенка к взрослому зависит и комизм унижения, которому соответствует тот случай, когда взрослый снисходит к детской жизни. Вряд ли что-нибудь может доставить ребенку больше удовольствия, чем то, когда взрослый отказывается от подавляющего превосходства и играет с ним, как с равным себе. Уменьшение затраты, доставляющее ребенку чистое удовольствие, превращается у взрослого, как унижение, в средство искусственного вызывания комизма и в источник комического удовольствия. О разоблачении мы знаем, что оно является производным унижения.

На наибольшие трудности наталкивается инфантильное условие третьего случая — комизма ожидания. Этим, конечно, объясняется то, что авторы, поставившие в своем изложении комизма этот случай на первый план, не сочли нужным принять во внимание инфантильный момент комизма. Комизм ожидания чужд ребенку, способность понять его наступает очень поздно. Ребенок в большинстве тех случаев, которые кажутся взрослому комическими, чувствует, вероятно, только разочарование. Но можно было бы связать с блаженством ожидания и легковерием ребенка понимание того, что человек кажется комичным, «как ребенок», когда он испытывает комическое разочарование.

Если бы результатом только что приведенного изложения явилась некоторая вероятность расшифровки комического чувства и если бы эта расшифровка гласила: комично все то, что не подходит взрослому, — тем не менее я в силу моего отношения к проблеме комизма не нашел бы в себе достаточно смелости так же серьезно защищать это положение, как все приведенные до сих пор. Я не могу решить, является ли нисхождение к ребенку только частным случаем комического унижения или всякий комизм покоится в своей основе на таком нисхождении⁸⁹.

Исследование комизма, даже беглое, было бы крайне неполным, если бы оно не сделало хотя бы несколько замечаний о юморе. Родственность между комизмом и юмором так мало подлежит сомнению, что попытка объяснения комизма должна дать по меньшей мере один компонент для понимания юмора. Для оценки юмора было приведено много верного и выдающегося. Будучи одним из высших психических проявлений, юмор пользуется особым вниманием мыслителей, тем не менее мы не можем не сделать попытку выразить его сущность, приблизив ее к формулам для остроты и для комизма.

Мы слышали, что освобождение мучительных аффектов является сильнейшим препятствием для комического впечатления. Так как бесцельное действие наносит ущерб, глупость приводит к несчастью, разочарование причиняет боль, то все это исключает возможность произвести комический эффект, по крайней мере, на того, кто не может отделаться от такого неудовольствия, кто сам испытывает его, кого оно затрагивает. В то же время человек непричастный показывает своим поведением, что ситуация настоящего случая имеет все необходимое для комического эффекта. Юмор является средством получения удовольствия, несмотря на препятствующие ему мучительные аффекты. Он подавляет это развитие аффекта, занимает его место. Условием для его появления можно считать ситуацию, в которой мы, сообразно с нашими привычками, должны были бы пережить мучительный аффект, но поддаемся влиянию мотивов, призывающих к подавлению этого аффекта *in statu nascendi* (в зародыше). Следовательно, в вышеприведенных случаях человек, которому причинены ущерб и боль, может получить в лучшем случае юмористическое удовольствие, в то время как человек непричастный смеется от удовольствия комического.

⁸⁹ Если бы комизм не имел ничего общего с инфантильностью, то это было бы на самом деле редким совпадением (если не учитывать, что комическое удовольствие при этом имеет своим источником «количественный контраст», то есть сравнение большого с малым, выражающее сущность отношения взрослого к ребенку).

Удовольствие от юмора возникает в таких случаях ценою неосуществившегося развития аффекта (не можем сказать иначе); оно вытекает из экономии аффективной затраты.

Юмор является самым умеренным из всех видов комизма. Его процесс осуществляется уже при наличии одного только человека; участие другого не прибавляет к нему ничего нового. Я могу сам наслаждаться возникшим во мне юмористическим удовольствием, не испытывая потребности рассказать о нем другому человеку. Нелегко сказать, что происходит в этом одном человеке при появлении юмористического удовольствия. Но можно создать себе определенное мнение об этом, если исследовать те случаи сообщенного или прочувствованного юмора, в которых я, благодаря пониманию человека с юмором, получаю такое же удовольствие, как и он. Самый грубый случай юмора, так называемый «юмор висельников» (Galgenshumor) пояснит нам это.

«Преступник, которого ведут в понедельник на казнь, говорит: «Ну, эта неделя начинается хорошо».

Это, собственно, острота, так как замечание само по себе меткое. Но, с другой стороны, оно до бессмысленного неуместно, так как дальнейших событий для него в эту неделю не будет. Но нужно обладать юмором, чтобы создать такую остроту вопреки всему тому, что отличает начало этой недели от других и пренебречь этим отличием, которое создает мотивы совершенно к особым переживаниям. Так же обстоит дело и тогда, когда он по пути на казнь выпрашивает кашне для своей обнаженной шеи, чтобы не простудиться. Такая предосторожность была бы обоснованной в ином случае, но теперь, когда судьба этой шеи уже предрешена, осторожность эта кажется излишней и чрезмерно беспечной. Нужно сознаться, что есть нечто похожее на душевное величие в этом бахвальстве, в сохранении своей привычной сущности, в нежелании видеть то, что вскоре уничтожит этого человека и поэтому должно привести его в отчаяние. Такого рода величие юмора выступает, несомненно, в тех случаях, когда наше восхищение не встречает задержек в положении юмористического лица.

В «Эрнани» В. Гюго, бандит, принявший участие в заговоре против своего короля Карла I Испанского (Карла V, немецкого кайзера), попал в руки своего могущественного врага. Он, избалованный заговорщик, предвидит свою судьбу: его голова будет отсечена. Но в предвидении этого он раскрывает свое звание потомственного гранда и заявляет, что он не собирается отказываться от преимуществ, которыми пользуются гранды. Испанский гранд имеет право надеть головной убор в присутствии своего короля. Итак:

Nos têtes ont le droit

De tomber couvertes devant de toi.

(«Наши головы имеют право Пасть перед тобой покрытыми».)

Это великолепный пример юмора. А если мы, слушатели, не смеемся при этом, то лишь потому, что наше изумление покрывает собой юмористическое удовольствие. В случае с преступником, который боится простудиться на пути к виселице, мы смеемся во все горло. Ситуация, приводящая преступника в отчаяние, может вызвать у нас только сострадание. Но это сострадание встречает в нас задержку, так как мы понимаем, что тот, кого это близко касается, нисколько не представляет себе всей серьезности момента. От этого понимания затрата энергии на сострадание, к которой мы были уже подготовлены, уже неприменима для этой цели, и мы выражаем ее в смехе. Беспечность преступника, стоившая ему, как мы замечаем, большой затраты психической энергии, как будто заражает нас.

Экономия сострадания является одним из самых частых источников юмористического удовольствия. Юмор Марка Твена пользуется обычно этим механизмом. Например, Твен рассказывает нам такой случай из жизни своего брата. Однажды тот, будучи служащим на большом предприятии по строительству железных дорог, взлетел на воздух из-за преждевременного взрыва мины и упал опять на землю далеко от места своей работы. В нас этот случай неизбежно пробуждает чувство сострадания к несчастному. Нам хочется спросить, не получил ли он ранений при этом. Но дальше следует продолжение рассказа. Оказывается, у брата был удержан полудневный заработок «за то, что он отлучился со

службы». И это уточнение целиком отвлекает нас от сострадания, делает нас почти такими же безжалостными, как и его предприниматель, и вызывает почти такое же безразличное отношение к возможному ущербу здоровью брата.

В другой раз Марк Твен излагает нам свою родословную, которую он ведет от одного из спутников Колумба. Но после того как он изобразил нам характер этого предка, весь багаж которого состоял из нескольких пар белья, причем каждая пара имела другую метку, то мы начинаем смеяться и не иначе как за счет экономии того благоговения, в которое готовы были перенестись в начале рассказа, об этой родословной. При этом для механизма юмористического удовольствия не является препятствием знание того, что эта родословная вымышленная и этот вымысел служит целям сатирической тенденции, подчеркивая, таким образом, излишнюю красочность, которая имеется в подобных сообщениях других людей.

Еще один рассказ Марка Твена. Его брат построил себе подземную квартиру, в которую принес кровать, стол и лампу. Крышей ей служил большой, продырявленный в середине кусок парусины. Но ночью, после того как квартира была устроена, через отверстие в крыше на пол упала корова, которую гнали домой. При этом она погасила лампу. Брат терпеливо помог вытащить наверх животное и привел все опять в порядок. Таким же образом он поступил, когда в следующую ночь повторилось то же самое. И так далее каждую ночь. Такая история производит комическое впечатление из-за многократного повторения. Но Марк Твен заканчивает ее таким образом. На 46-ю ночь, когда корова снова упала вниз, брат заметил: «Дело начинает принимать однообразный характер». И тогда мы не можем не испытать юмористического удовольствия, так как уже давно ожидали услышать, как же, в конце концов, брат выразит свою досаду по поводу этого упорного невезения.

Тот небольшой юмор, который мы сами вносим в нашу жизнь, мы, как правило, продуцируем за счет досады, взамен огорчения⁹⁰.

Виды юмора чрезвычайно разнообразны, в зависимости от природы аффективного возбуждения, за счет экономии которого он создается. Это сострадание, досада, боль, умиление и т. д. Этот ряд бесконечен, так как область юмора становится все шире. Художнику или писателю удастся юмористически победить непобежденные до сих пор

⁹⁰ Великолепный юмористический эффект, который производит фигура толстого рыцаря сэра Джона Фальстафа, основан на экономии презрения и негодования. Хотя мы считаем его недостойным кутилой и мошенником, но при осуждении его нас обезоруживает целый ряд моментов. Мы понимаем, что он сам о себе такого же мнения, как и мы о нем. Он импонирует нам своим остроумием, и, кроме того, его телесное уродство оказывает в высшей степени благоприятное влияние на комическое понимание его личности вместо серьезного, как будто наши требования относительно морали и чести должны отскакивать от такого толстого живота. Его поведение, в общем, безобидно и может быть почти оправдано комической подлостью тех, кого он обманывает. Мы согласны с тем, что этот бедняк имеет право стремиться к жизненным благам и к наслаждению, как и всякий другой. Мы почти сочувствуем ему, так как в главных ситуациях мы видим, что он является игрушкой в руках человека, гораздо более сильного, чем он. Поэтому мы не можем ненавидеть его и превращаем все, что экономим за счет негодования, в комическое удовольствие, прибавляя его к тому удовольствию, которое он доставлял прежде. Собственный юмор Джона Фальстафа вытекает из чувства превосходства его Я, которого ни его физические, ни моральные недостатки не могут лишить веселости и уверенности.

Доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанчский является, наоборот, фигурой, которая сама по себе не обладает юмором. Он доставляет нам в своей серьезности удовольствие, которое можно было бы назвать юмористическим, хотя в механизме этого удовольствия имеется глубокое уклонение от юмора. Дон Кихот — это первоначально чисто комическая фигура, большой ребенок, которому вскружили голову фантазии из рыцарских книг. Известно, что автор вначале не хотел сказать ничего другого, кроме этого, и что произведение это мало-помалу разрослось далеко за пределы первоначальной цели автора. Но затем Сервантес наградил эту смешную персону глубочайшей мудростью и благороднейшими намерениями, сделал Дон Кихота символическим воплощением идеализма, показал, как он верит в осуществимость своих целей, серьезно выполняет свои обязанности и обязательно сдерживает свои обещания. И тогда этот герой перестал производить на нас комическое впечатление. Как в одних случаях юмористическое удовольствие возникает из торможения аффективного возбуждения, так в случае с Дон Кихотом оно возникает из торможения комического удовольствия. Однако эти примеры увели нас в сторону от простых примеров юмора.

аффективные возбуждения, сделать их источником юмористического удовольствия с помощью тех же приемов, что и в предыдущих примерах. Художники «Симпличис-симуса» поражают нас тем, что добывают юмор из ужасного и отвратительного. Впрочем, формы проявления юмора определяются двумя особенностями, связанными с условиями его возникновения. Во-первых, юмор может сливаться с остротой или другим видом комизма, причем на его долю выпадает задача устранить заложенную в ситуации возможность развития аффекта, который явился бы препятствием для ощущения удовольствия. Во-вторых, он может совсем или только частично упразднить развитие аффекта, что имеет место даже чаще, так как это легче сделать. В результате появляются различные формы «мрачного» («gebrochen»)¹ юмора, смеющегося сквозь слезы. Он отнимает у аффекта часть его энергии и придает ему за это юмористический оттенок.

Юмористическое удовольствие, доставляемое вчувствовани-ем, возникает, как можно заметить из предыдущих примеров, с помощью особой техники, которую можно сравнить с передви-ганием. С помощью этой техники уже заготовленный аффект не встречает нужного объекта, и энергия направляется на нечто другое, нередко второстепенное. Но для понимания того процесса, который осуществляет передвижение с развития аффекта, это ничего не дает. Мы видим, что воспринимающий юмор подражает его создателю в его душевных процессах, но не узнаем при этом ничего о тех силах, которые осуществляют этот процесс у создателя юмора.

Можно только сказать, что если кому-нибудь удастся пренебречь, например, болезненным аффектом, противопоставляя величину мировых интересов своему собственному ничтожеству, то мы не видим в этом никакого проявления юмора. Это только проявление философского мышления, и мы не получаем никакого удовольствия, отождествляя себя с этим человеком. Юмор, следовательно, так же невозможен при фиксации сознательного внимания, как и комическое сравнение, которое связано условием оставаться предсознательным или автоматическим.

К некоторой разгадке юмористического передвижения можно подойти, если рассматривать его в свете защитных процессов, которые являются психическими коррелятивами рефлекса бегства. Они преследуют цель предупредить возникновение неудовольствия из внутренних источников. При выполнении этой задачи они служат для душевной жизни автоматическим регулятором, который, в конце концов, оказывается чем-то ущербным для нас и должен поэтому подавляться сознательным мышлением. Я доказал, что определенный вид этой защиты, неудавшееся вытеснение, является действующим механизмом при возникновении психоневрозов. Юмор может быть понят как высшая из этих защитных функций. Он не скрывает от сознательного внимания содержание представлений, связанных с мучительным аффектом, как это делает вытеснение. Следовательно, он преодолевает защитный автоматизм. Юмор осуществляет это, находя средства лишить энергии подготовленное уже освобождение неудовольствия и направить ее путем отреагирования на получение удовольствия. Можно даже предположить, что и связь с инфантильностью представляет в его распоряжение средства для этой функции. В детской жизни бывают сильные мучительные аффекты, по поводу которых взрослый теперь улыбается. Так он со временем начинает смеяться, будучи юмористом, над своими нынешними мучительными аффектами. Возвеличение своего Яо котором свидетельствует юмористическое передвижение, взрослый может, конечно, найти в сравнении своего теперешнего Я со своим детским Я (в переводе на язык сознания это должно гласить: я слишком великолепен, чтобы эти причины заставили меня страдать). Такое толкование подтверждается до некоторой степени той ролью, какая принадлежит инфантильности при невротических процессах вытеснения.

В общем, юмор стоит ближе к комизму, чем к остроумию. Он имеет общую с комизмом психическую локализацию в предсоз-нательном, в то время как острота, согласно нашему предположению, является компромиссом между бессознательными и предсознательными процессами. Поэтому юмору не присуща та своеобразная характерная черта, которая

свойственна и остроте, и комизму и которую мы, быть может, еще недостаточно ясно отметили. Мы имеем в виду условие для возникновения комизма. Согласно ему мы одновременно или в быстрой последовательности применяем для одной и той же работы воображения два различных способа представления, между которыми потом происходит «сравнение», а в результате получается комическая разница. Такие различия в затрате возникают между чуждым и родственным, привычным и видоизмененным, ожидаемым и случившимся⁹¹.

При остроте разница между двумя способами понимания, работающими с различной затратой, имеет значение для процесса у слушателя остроты. Одно из этих двух пониманий, следуя содержащимся в остроте намекам, прокладывает путь мысли через бессознательное, другое остается на поверхности и представляет себе остроту, как всякий иной текст, осознанный из предсознательного. Быть может, было бы правильно считать удовольствие от выслушанной остроты производным разницы обоих этих способов представлений⁹².

Мы утверждаем здесь об остроте то же самое, что уже было описано нами еще до того, как отношение между остротой и комизмом показалось нам неисчерпанным, отчего мы уподобили остроту двуликому Янусу⁹³.

При юморе бледнеет эта, выдвинутая здесь на первый план, характерная черта. Правда, мы испытываем юмористическое удовольствие, когда избежали аффективного возбуждения, которое было бы уместно в данной ситуации. И в этом отношении юмор тоже подпадает под расширенное понятие комизма ожидания. Но при юморе больше нет речи о двух различных способах представления одного и того же содержания. Преобладание в ситуации характера неудовольствия, вытекающего из аффективного возбуждения, которого нужно избежать, кладет конец сравнению с характерной чертой комизма и остроумия: Юмористическое передвижение является, собственно, случаем того иного употребления освобождения затраты, которое столь опасно для комического впечатления.

Приведем механизм юмористического удовольствия к той же формуле, что и комическое удовольствие и остроту, мы заканчиваем нашу работу. Удовольствие от остроты вытекает для нас из экономии затраты энергии на упразднение задержки, удовольствие от комизма — из экономии затраты энергии на работу представления, а удовольствие от юмора — из

⁹¹ Если не побояться несколько расширить понятие ожидания, то, согласно Липпсу, можно причислить очень большую область комизма к комизму ожидания. Но, вероятно, самые первоначальные формы комизма, которые являются результатом сравнения чужой затраты со своею собственной, меньше всего могут быть отнесены к этому виду комизма.

⁹² На этой формуле можно остановиться, так как в ней нет ничего, что стояло бы в противоречии с прежними рассуждениями. Разница между двумя затратами должна, в сущности, сводиться к экономии затраты на упразднение задержки. Отсутствие этой затраты на упразднение задержки при комизме и отсутствие количественного контраста при остроте обуславливают отличие комического чувства от впечатления, производимого остротой. И это при всей аналогии в характере двойной работы представления для одного и того же понимания.

⁹³ Свойство «Double face» («двуликий»), разумеется, не ускользнуло от авторов. Melinaud, у которого я позаимствовал это выражение, дает условие для смеха в следующей формуле (Pourquoi riton? «Revue des deux mondes», Fevrier, 1895): «Ce qui fait rire, c'est ce qui est a la fois, d'un cote, absurde et de l'autre, familier». («Заставляет смеяться то, что является, с одной стороны, — абсурдным, а с другой — фамильярным».)

Эта формула подходит скорее к остроте, чем к комизму, но и ее не покрывает в целом. Бергсон (1. с. с. 98) определяет комическую ситуацию при помощи «interference des series»: «Une situation est toujours comique quand elle appartient en meme temps a deux series d'evenements absolument independantes, et qu'elle peut s'interpreter a la fois dans deux sens tout differentes». («Какое-нибудь положение вещей всегда будет комическим, если оно в одно и то же время относится к двум сериям событий, совсем независимых одно от другого, и когда это положение может быть истолковано сразу в двух совершенно противоположных смыслах».)

Для Липпса комизмом является «величие и ничтожество одного и того же» («Die Grosse und Kleinheit desselben»).

экономии аффективной затраты энергии. Во всех трех видах работы нашей душевной деятельности удовольствие вытекает из экономии. Все три вида аналогичны в том, что представляют собой методы получения удовольствия из душевной деятельности, причем удовольствия, которое, собственно, было потеряно лишь из-за развития этой деятельности. Ибо эйфория, которую мы стремимся вызвать этими путями, является ничем иным, как настроением духа в тот жизненный период, когда мы вообще справлялись с нашей психической работой с помощью незначительной затраты энергии, — настроением духа в нашем детстве, когда мы не знали комизма, не были способны создавать остроты, не нуждались в юморе, чтобы чувствовать себя счастливыми в жизни.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](http://Royallib.com)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)